

Зайцев Борис

Жизнь Тургенева

КОЛЫБЕЛЬ

Орловская губерния не весьма живописна: поля, ровные, то взбегающие изволоками, то пересеченные оврагами; лесочки, ленты берез по большакам, уходящие в опаловую даль, ведущие Бог весть куда. Нехитрые деревушки по косогорам, с прудками, сажалками, где в жару под ракетами укрывается заленившееся стадо — а вокруг вся трава вытоптана. Кое-где пятна густой зелени среди полей — помещичьи усадьбы. Все однообразно, неказисто. Поля к июлю залиты ржами поспевающими, по ржам ветер идет ровно, без конца без начала и они кланяются, расступаются тоже без конца-начала. Васильки, жаворонки... благодать.

Это предчерноземье. Место встречи северно-средней Руси с южною. Москвы со степью. К западу заходя в Калужскую, к северу в Московскую, области Тулы и Орла являются как-бы Тосканою русской. Богатство земли, тучность и многообразие самого языка давали людей искусства. Святые появлялись в лесах севера. Тургеневы, Толстые, Достоевские порождены этими щедрыми краями.

Село Спасское-Лутовиново находится в нескольких верстах от Мценска, уездного города Орловской губернии.

Огромное барское, в березовой роще, с усадьбой в виде подковы, с церковью насупротив, с домом в сорок комнат, бесконечными службами, оранжереями, винными подвалами, кладовыми, конюшнями, со знаменитым парком и фруктовым садом. В начале прошлого века это как-бы столица маленького царства, с правительством, чиновниками, подданными. Даже колонии были: разные подчиненные имения и села, всякие Любовши, Тапки, Холодовы.

Спасское принадлежало Лутовиновым. Последнею из Лутовиновых владела им девица Варвара Петровна, унаследовавшая его от дяди Ивана Ивановича. Ей было уже под тридцать, когда в Спасское заехал молодой офицер Сергей Николаевич Тургенев — для закупки лошадей с его завода, классический «ремонтёр». Варвара Петровна сразу в него влюбилась: отличался он редкостной красотой. Она пригласила его бывать запросто без дела; и оставила у себя его португеею: чтобы крепче выходило. Сергей Николаевич стал появляться в Спасском. В 1816 году она вышла за него замуж. Через год у них родился сын Николай, а затем Иван.

Варвара Петровна не могла похвастаться предками: дед ее был скряга, отец скандалист и буян, обиравший, еще будучи молодым офицером, валдайских ямщиков. Дядя — сумрачный скупец (любил только покупать жемчуг). Знаменитый сын Варвары Петровны не одну горькую страницу своих писаний посвятил Лутовиновым.

Молодость ее оказалась не из легких. Мать, рано овдовев, вышла замуж за некоего Сомова. Он мало отличался от Лутовиновых. Был пьяницей. Тянул Ерофеича и сладкую

мятную водку. Тиранил падчерицу — девочку некрасивую, но с душой пламенной, своеобразной. Мать тоже ее не любила. Одиночество, оскорбления, побои — вот детство Варвары Петровны. Через много лет, уже хозяйкою Спасского, побывала она со своей воспитанницей Житовой в имении, где прошла ее юность. Обошли комнаты дома, и, выйдя из зала в коридор, наткнулись на заколоченную досками, крест на крест, дверь. Житова подошла к двери, дотронулась до старинного медного замка, торчавшего из под досок. Варвара Петровна схватила ее за руку. «Не трогай, нельзя! Это проклятые комнаты!» Что именно там происходило, она не рассказала. Но известно, что в этом доме, когда ей близилось шестнадцать, отчим покушался на ее юность. В одну страшную ночь измученная девушка, которой грозило «позорное наказание», бежала из дому — ей помогла няня. Полуодетая, пешком, прошла шестьдесят верст до Спасского. Там укрылась у дяди своего, Ивана Ивановича.

Здесь ждала тоже несладкая жизнь — у крутого и скупого старика. Будто бы он лишил ее наследства и от него она тоже бежала, он-же умер внезапно, от удара, не успев написать завещание против нее. О смерти Ивана Ивановича известия смутны. И вторичное бегство Варвары Петровны не есть-ли уже легенда? Так ли ей на роду написано всегда убегать?

Во всяком случае лучшие ее годы полны глубокой горечи. Она прожила у дяди десять лет, ей шел двадцать седьмой, когда неожиданно из Сандрильоны обратилась она во владелицу тысяч крепостных, тысяч десятин орловских и тульских благодатных земель.

Эти крепостные, эти земли определили и любовную ее жизнь — брак с Тургеневым.

Род Тургеневых иной, чем Лутовиновых. Очень древний, татарского корня, он более благообразен. С пятнадцатого века Тургеневы служили на военной и общественной службе. «Отличались честностью и неустрашимостью», говорит предание. Были среди них мученики: Петр Тургенев не побоялся сказать Лжедмитрию: «ты не сын царя Иоанна, а Гришка Отрепьев, беглый из монастыря, я тебя знаю» — за что был пытан и казнен, как впоследствии погиб от удалцов Стеньки Разина воевода Тимофей Тургенев, не пожелавший сдать им Царицына. (Заперся в башне с десятком стрельцов. Васька Ус на веревке тащил его к Волге, где и утопил).

Тургеневы восемнадцатого века не столь воинственны и героичны. Они мирно служат в армии, выходят в средних чинах в отставку, и более или менее лениво доживают дни в деревне. Только у одного из них необычная судьба — связанная с красотой его и любовными делами. Это Алексей Тургенев, в юности паж Анны Иоанновны. Бирон из ревности услал его на Турецкую войну, где он и попал в плен. Оказавшись в гареме, подавал кофе султану и раскуривал ему трубку. Век бы Тургеневу ее раскуривать, если бы красотой его не была тронута султанша. Она дала ему кошелек с золотом и помогла бежать.

Сергей Николаевич Тургенев соединял в себе разные качества предков: был прям и мужествен, очень красив, очень женолюбив. «Великий ловец перед Господом», говорил о нем сын. Сергей Николаевич совсем мало служил на военной службе: уже двадцати восьми лет вышел в отставку. Но до последнего вздоха был предан Эросу, и завоевания

его оказались огромны. Он мог быть с женщинами мягок, нежен, тверд и настойчив, смотря по надобности. Тактика и стратегия любви были ему хорошо известны, некоторые его победы блестящи.

И вот этот молодой человек с тонким и нежным как у девушки лицом, с «лебединою шеей», синими «русалочьими» глазами, неистощимым запасом любовной стремительности, попался на пути Варвары Петровны.

У него — единственное имение в сто тридцать душ. У нее крепостных не менее пяти тысяч. Женился ли бы он, если б было обратно? Кавалерист с русалочьими глазами быть может и соблазнил бы несколько полоумную девушку, но жениться... — для этого необходимо Спасское. И как некогда турецкая султанша высвободила деда из гарема, так женитьба на Варваре Петровне укрепила внука в жизни.

Повенчавшись, Тургеневы жили то в Орле, то в Спасском. Счастливою с мужем Варвара Петровна не могла быть — любила его безгранично и безответно. Сергей же Николаевич, под знаменитыми своими глазами был вежлив, холоден, вел многочисленные любовные интриги и ревность жены переносил сдержанно. В случае бурных умел и грозить. Вообще над ним Варвара Петровна власти не имела: воля и сила равнодушия были на его стороне.

Как бы ни прожил Сергей Николаевич жизнь с некрасивою и старше его женою, несомненно, что он знал и Любовь истинную. Иногда ее профанировал. Но иногда отдавал ей всего себя и потому понимал страшную ее силу и силу женщины. «Бойся женской любви, бойся этого счастья, этой отравы...» говорил сыну. Сергей Николаевич обычно побеждал, все-таки роковой характер Эроса знал. И не было в нем колебаний, половинчатости. По пути своему, иногда жестокому, мало жалостливому, почти всегда грешному, шел Тургенев-отец не сворачивая. Его девиз: взять, взять всю жизнь, ни одного мгновения не упустить — а дальше бездна. Он очень походил на Дон-Жуана.

* * *

Город Орел столь же неказист и ненаряден, как и окружающая его страна. Ока здесь еще мала. Нет живописного нагорного берега, как в Калуге. Нет леса церквей, дальних заречных видов. Разумеется, есть Собор и городской сад. Вблизи Левашовой горы Болховская, прорезающая весь город, да Дворянская, где жила Лиза Калитина. Главное же, что отличает Орел, это летняя жара и пыль — облака белой известковой пыли над улицами.

«1818 года 28 октября, в понедельник, родился сын Иван, ростом 12 вершков, в Орле, в своем доме, в 12 часов утра. Крестили 4-го числа ноября, Феодор Семенович Уваров с сестрою Федосьей Николаевной Тепловой» — так записала в памятной книжке Варвара Петровна. Меньше всего думала, конечно, что родила будущую славу России.

Рождением своим Тургенев связан с Орлом-городом, но только рождением. Довольно скоро перебрались родители в Спасское, и Орел в жизни, как и писании Тургенева сыграл роль небольшую. Истинной его «колыбелью» оказалось Спасское, со всем своим пышным и тяжеловесным, медленным, суровым и поэтическим складом. Дом — чуть не дворец. Дворня — лакеи, горничные, казачки на побегушках, повара, конюхи, садовники, швеи, приживалки — все это двигалось мерно и возглавлялось владыкою — Варварой Петровной. Сергей Николаевич на втором плане. Жили праздно и сытно, не без нарядности. Устраивали балы, маскарады. В одной галерее давались спектакли. Ставили пьесы и под открытым небом, в саду. Играл свой оркестр, своя крепостная труппа. Трепещущий батюшка служил по праздникам молебствия. Гувернеры и гувернантки учили детей.

Детство Тургенева могло стать золотым — но не стало. Слишком суровой оказалась мать, слишком отравила жестокостью нежные годы. Она очень любила сына — и очень его мучила. В этом же самом роскошном доме чуть не каждый день секли будущего владельца Спасского, за всякую мелочь, за каждый пустяк. Достаточно полоумной приживалке шепнуть что-нибудь Варваре Петровне, и та собственноручно его наказывает. Он даже не понимает, за что его бьют. На его мольбы мать отвечает: «сам знаешь, сам знаешь, за что я секу тебя». На другой день он объявляет, что все-таки не понял, за что его секли — его секут вторично и заявляют, что так и будут сечь ежедневно, пока не сознается в преступлении.

Кажется, Варвара Петровна могла бы вспомнить, как сама некогда бежала из ненавистного сомовского дома. Но вот не вспомнила. А сын чуть не убежал. «Я находился в таком страхе, в таком ужасе, что ночью решил бежать. Я уже встал, потихоньку оделся и впотемках пробрался по коридору в сени...» Его поймал учитель, добросердечный немец (толстовский Карл Иваныч!), и рыдавший мальчик признался ему, что бежит потому, что не может долее сносить оскорблений и бессмысленных наказаний. Немец обнял его, обласкал и обещал заступиться. Заступился и на самом деле: его временно оставили в покое.

Вне же матери Спасское давало очень много. Тут узнал он природу, русских простых людей, жизнь животных и птиц — не весь же день уроки с учителями и гувернантками. Выдавались счастливые минуты и даже часы, когда удирали в Спасский знаменитый парк. Изящный и далекий, отец плел свои донжуанские кружева то с орловскими дамами, то с крепостными девицами. Мать правила царством: принимала поваров, бурмистров, наблюдала за работами, но и сама читала, сама кормила голубей в полдень, беседовала с приживалками, охала, жалела себя. А у сына появились, конечно, свои приятели из дворовых. На прудах можно было чудесно пускать кораблики. Из молодых липовых веток вырезать свистульки. Бегать в догонялки. Ловить птиц. Это последнее занятие нравилось ему особенно. Водились у него всякие сетки, пленки, западни. С семилетнего возраста его тянуло именно к птицам. С этих пор он их и изучал так любовно, знал в подробностях жизнь, пение, и когда какая утроем начинает раньше щебетать. Мало ли всяких иволг, кукушек, горлинок, малиновок, дроздов, удонов, соловьев, коноплянок жило в спасском приволье? В дуплистых липах гнездились скворцы — на дорожках аллей, среди нежной гусиной травки валялись весною пестрые скорлупки их яичек. Вокруг дома — реющая сеть ласточек. В глухих местах парка сороки. Где-

нибудь на дубу тяжкий ворон. Над прудом трясогузки — перелетают, или попрыгивают по тенистому бережку, качают длинными своими хвостиками. В зной — тишина, белая зеркальность вод, цветенье лип, пчелы, смутный, неумолчный гуд в парке полутемном.

Здесь узнал он и поэзию книжную — кроме природы. Любовь к ней пришла из чтения дворовым человеком в уединенном углу того же парка — Пуниным назвал в рассказе Тургенев первого своего учителя словесности, милого старика, который на глухой полянке за прудом мог и подзывать зябликов, и декламировать Хераскова. Дружба с Пуниным, конечно — полутайна, все это вдали от гувернанток, приживалок, наперекор всему. Но тем прелестней. И неважно, как в действительности звали его. Важно и хорошо, что поэзия предстала перед мальчиком Тургеневым в облике смиренного энтузиаста, в облике «низком» и одновременно возвышенном, полу-раба, полу-учителя. В парке, в зелени и среди света солнца ощутил он впервые «холод восторга».

Пунин, крепостной человек, самоучка и любитель словесности, читал особенным образом: сперва бормотал вполголоса, «начерно», а потом «мифически» гремел, «не то молитвенно, не то повелительно» — это священнодействие и побеждало. Так прочитали они не только Ломоносова, Сумарокова и Кантемира, но и Хераскова. В зеленой глубине Спасского парка и была решена участь мальчика. Как ни презрительно относилась Варвара Петровна к писателям (по ее мнению, сочинять «канты» мог «либо пьяница горький, либо круглый дурак») — у ней самой под боком рос уже такой сочинитель. Безвестный, добродушный Пунин тронул в барчуке тайную струну: и уже пропал в нем помещик, начался поэт. Вернее — в одном существе началась жизнь и другого. Мечтатель, опьяняющийся стихами — вместе с тем и сын Варвары Петровны, барское отродье. Сам страдает от грубости, жестокости окружающего, но и тотчас подымает тон. Как только ему кажется, что низшие недостаточно к нему почтительны. «Мне не понравилось, что он назвал меня барчуком. Что за фамильярность!». «Вы, должно быть, не знаете, произнес я уже не развязно, а надменно: «я здешней барыни внук».

* * *

Варвара Петровна считала себя верующей, но к религии относилась странно. Православие для нее какая-то «мужицкая» вера, на нее, а уж особенно на ее служителей смотрела она свысока, в роде как на русскую литературу. Молитвы в Спасском произносились по-французски! Воспитанница читала ежедневно по главе «Imitation de Jesus Chist». Сергей же Николаевич вовсе был далек от всего этого. Жил сам по себе, одиноко и без Бога, но при всей смелости своей был, как нередко именно мужественные и неверующие люди, суеверен: боялся не Бога, не смерти и суда, а домовых. То, как отец ходил за священником. Освящавшим поздним вечером углы обширного дома, как колебалось пламя свечи и как жутко это было, маленький Тургенев запомнил. (Священник являлся тут для Сергея Николаевича чем-то вроде колдуна, заклинателя — одна таинственная сила противопоставлялась другой). Но поэзия быта православного, существовавшая тогда в некоторых семьях, Тургенева, к сожалению не коснулась.

Доброты, светлого уюта в отчем доме он не встретил — как-то с первых шагов оказался одиноким.

Далекий холод и парадность Сергея Николаевича, причудливая карамазовщина Варвары Петровны (тяжкое детство, некрасота, властолюбие, раз на всегда обиженность) — из этой смеси родился букет Спасского. Некоторые черты его почти фантастичны. Другие мрачно жестоки.

Хотелось, чтобы все было грандиозно, чтобы походило на «двор». Слуги называются министрами. Дворецкий — министр двора, ему дали даже фамилию тогдашнего шефа жандармов — Бенкендорфа. Мальчишка лет четырнадцати, заведывавший почтой, назывался министром почт, компаньонки и женская прислуга — гофмейстерины, камер-фрейлины, и пр. Существовал известный церемониал обращения с барыней: не сразу министр двора мог начинать, например, с ней разговор. Она сама должна была дать знак разрешения.

За почтой посылали ежедневно верхового во Мценск. Но не сразу, не просто можно отдать эти письма. Варвара Петровна всегда отличалась нервностью (падение ножниц приводило ее в такое волнение, что приходилось подавать флакон со спиртом). Министр двора разбирал письма и смотрел, нет ли какого с траурной печатью. Смотри по содержанию почты, дворовый флейтист играл мелодию веселую или печальную, подготавливая барыню к готовящимся впечатлениям.

Постороннему, особенно неименитому лицу не так легко было и въехать в Спасское. Еще не знаешь, въехав, куда попадешь! Но «двор» знал. Прямо подъезжать к дому, с колокольчиками, мог исправник. А станковые отвязывали их за версту, за полторы, чтобы не беспокоить барыню. Уездный лекарь мог подъезжать только ко флигелю.

Все это еще безобидно, хотя и болезненно. Бывало и много хуже. За не так поданную чашку, за нестертую пыль со столика горничных ссылали на скотный двор или в дальние деревни — на тяжелую работу. За сорванный кем-то тюльпан в цветнике секли подряд всех садовников. За недостаточно почтительный поклон барыне можно было угодить в солдаты (по тем временам равнялось каторге).

Тургенев-дитя, Тургенев времен Спасского знал уже многое о жизни. Кроме пения птиц в парке да волнующего звона стихов, слышал и вопли с конюшен, и по себе знал, что такое «наказание». Всякие деревенские друзья-сверстники подробно доносили, кому забрили лоб, кого ссылают, кого как драли. Не в оранжерее рос он. И нельзя сказать, чтобы образ правления Варвары Петровны приближал к ней ребенка, в котором жил уже бродильный грибок. Мать растила далекого себе сына, но и довольно устойчивого, неукоснительного врага того жизненного склада, которого страстной носительницей была сама.

ОТРОК И ЮНОША.

В 1827 году Тургеневы переехали в Москву, купив дом на Самотеке. Летом выезжали и в имение: связь с деревней не прерывалась.

В это время Сергей Николаевич заболел каменной болезнью, и для лечения ему и Варваре Петровне пришлось отправиться в Париж, быть в Эмсе и Франкфурте.

Иван остался в Москве, в пансионе Вейденгаммера (а старшего сына Николая отдали в артиллерийское училище в Петербурге). У Вейденгаммера провел Иван года полтора, потом на несколько месяцев попал в армянский пансион (впоследствии Лазаревский институт восточных языков) и, наконец. Оказался еще в новом, у Краузе.

Его можно представить себе изящным и благовоспитанным мальчиком, хорошо учившимся, несколько чувствительным и нелишенным высокомерия. Неудивительно, если он тяготеет к аристократическим знакомствам в пансионе, к князьям и графам. Столь же неудивительно, что с глубоким вниманием слушает пересказ гувернером «Юрия Милославского», восхищается им, помнит наизусть и бросается даже бить товарища, помешавшего слушать. Так же понятно, что Тургенев-пансионер, увидев после игры в лапту, во дворе под кустом сирени скромного юношу с немецкой книгой, мог не без надобности спросить: «а вы читаете по-немецки?» И когда оказалось, что тот не только читает, но и гораздо лучше его самого, и любит поэзию — то с ним-то как раз барчук, доживший светскими друзьями, и сошелся. Мало того, просто подпал под его влияние.

С пансиона идет начало тургеневских юношеских дружб, отмеченных восторженностью, не надолго удерживавшихся, но возникавших всегда на почве «высшего»: томлений по красоте, истине, испытания загадок мира, и т. п. Это было вообще время романтических привязанностей, раскрытия душ, откровенностей, заходивших иногда очень далеко. Можно и улыбнуться на такую «патетическую болтовню», кончавшуюся иногда тем, что прежние друзья становились смертельными врагами. Но не всегда так бывало. Случалось и надолго сохранить память о чудесном пламени молодости, да и само такое пламя разве уж не имеет никакой цены? Разве плохо — сладостно волноваться, когда «друг» читает вслух стихи? (Теперь уже Шиллера, не Хераскова). Разве плохо — выйти потихоньку с ним ночью в пансионский сад, когда все уж заснуло, сесть под тем же кустом сирени, где впервые они познакомились, и который полюбили, ощущать дуновение ночного ветерка, сквозь листву видеть милое московское небо в звездах (с Арктуром, зацепившимся за крест соседней церковки), шептаться, мечтать... А когда друг, взглянув на небо, «тихо» восклицает:

Над нами

Небо с вечными звездами

А над звездами их Творец...

— вновь испытать «благоговейный» трепет и «припасть» к плечу?

Однако, отрок Тургенев приближался к возрасту, когда другое начинало волновать его. Романтические дружбы пришли и ушли с юностью. Любовь, поклонение женщине наполнили всю его жизнь, сопровождали до могилы.

В ранней молодости любовь предстала Тургеневу сразу в двух видах. Афродиту-Пандемос и Афродиту-Уранию он познал почти одновременно — явились они отдельно, и так разделенными остались навсегда.

«Простонародная» Афродита связана с крепостным бытом и укладом. («Помещичье» вкушение от древа познания). У Варвары Петровны служила горничная, «красивая, с глупым видом», и глупость эта придавала ей нечто «величавое». Разумеется, она была старше и опытнее его — ему исполнилось тогда пятнадцать лет. Он приехал в Спасское на каникулы.

Полный сил юноша бродил однажды в сыроватый весенний день в парке. Близились сумерки. Дрозды перепархивали в яблонях. Иволга заливалась. Березы спасской рощи были в зеленом, клейком пуху. Афродита предстала ему со своим «глупо-величавым» видом. Его раба, крепостная. Но и властительница. Она взяла его за волосы на затылке и сказала:

— Пойдем.

А вечером, в непроглядную темень, он крался к ней на свидание, в пустую, заброшенную хату. Перелезал через канавы, падал в крапиву, пробирался по меже с горькою серебряной полынью, под теплым, накрапывавшим дождичком, от которого так зеленеют всходы. Сова кричала в парке. Может быть, и Сергей Николаевич отдавался той же ночью зову любви.

В жизни Тургенева-сына этот опыт не оставил следа. Исчезла деревенская богиня! Даже имени ее не сохранилось.

Первая истинная его влюбленность прославлена им же самим. Испытав полуребенком чувства высокие и блажено-мучительные, в зрелости создал он из них лучшее свое произведение. Толстой и Достоевский могут завидовать «Первой любви» — явлению Афродиты Урании в жизни пятнадцатилетнего юноши.

Повесть известна. С детских лет видишь и как бы насквозь знаешь парк с домом Зинаиды, соседки по даче с Тургеневым в Нескучном (под Москвою). И ее самое знаешь, всегда в таинственной прелести, в печали и ослеплении любви, и мучительно сладкую любовь мальчика — его мечтания, надежды, слезы, ревность, подозрения. В судьбе Тургенева-сына важно, что первая же его встреча с истинной любовью была встреча безответная. «Неразделенная любовь» — так началась жизнь изящнейшего, умнейшего, очень красивого человека и великого художника.

Ему предпочли другого. В загадочно-волнующем впечатлении, остающемся от этой истории, имеет большое значение, что «другой» оказался отцом.

Сергей Николаевич Тургенев появляется здесь портретно. Сын-писатель не возненавидел отца. Наоборот, был им побежден, изображает почти влюбленно. Такому

сопернику не грех уступить. Это не есть победа ничтожества. Как легко ходит отец, как он изящно одевается, как он «изысканно-спокоен», холоден и нежен, как замечательно ездит верхом... И он умеет хотеть! Когда хочет, ни пред чем не останавливается. «Я таких любить не могу», говорит Зинаида: «на которых мне приходится глядеть сверху вниз. Мне надобно такого, который сам бы меня сломил». Могли сломить ее мечтательный мальчик, благоговевший пред отцом и боявшийся его? Он все мечтал, мечтал... а тот все действовал. Тургенев-отец вложил в этот роман всю силу натуры. Соседка не была для него лишь приключением. Он завоевал ее, взял, но и сам много поставил на карту. Оттенок трагедии сразу лег на их любовь. Пронзительна знаменитая сцена прогулки верхом у Крымского брода, когда Зинаида сошлась уже с отцом и живет в маленьком мещанском домике. (Сыну надоело стеречь лошадей и он подсматривает Зинаиду и отца, который, стоя у окошка домика, где сидит Зинаида, разговаривает с нею, ссорится и ударяет хлыстом по обнаженной ее руке. Она целует этот рубец. Отец в ярости врывается в домик).

Сын отбегает вновь к реке и лошадям... На отца «находили иногда порывы бешенства». Бил ли он Зинаиду, не желавшую уступить, или не бил — сыну казалось, что бил... и что же он сам делал? Сидел на берегу реки и плакал. Он обожал отца и безумно его боялся. Обожал Зинаиду, но не двинулся, чтобы помочь в беде — пусть даже и воображаемой.

Это уже вполне Тургенев. Не Сергей Николаевич со своими русалочьими глазами и непреодолимой силой мужчины, а будущий знаменитый Иван Сергеевич.

Роман Сергея Николаевича с соседкою-княжной имел трагический оттенок — на своей страсти не смогли они основать жизни. Получилось в духе Тургенева-сына: он не любил семьи, не пожелал любимым своим героям полнеть в тепле и уюте. Он для них приберег смерть. Дон Жуана она ранее настигает; Зинаиду позже. Но любовь их уходит неувядающею.

* * *

Первый свой студенческий год Тургенев провел в Москве. Учился хорошо, но особого действия Университет на него не произвел. Осенью 34-го года отец перевел его в Петербург. Там удобнее было жить с братом Николаем, поступившим в гвардейскую артиллерию, 30 октября Сергей Николаевич скончался — он давно страдал каменной болезнью. Умер довольно молодым, сорока одного года. Так что действительно ненадолго пережил свой роман с Зинаидой, и правда, жизнь его оказалась кратка и непокойна.

Теперь у Ивана Тургенева оставалась только мать, жившая далеко, пока что не стеснявшая его молодости в Петербурге. Как принял он смерть отца? Некое благоговение, ведь, у него к отцу существовало, он как-то преклонялся перед ним. Но вряд ли очень страдал, потеряв его. В Тургеневе всегда была прохлада. Он жил собою. Не было глубоким чувство к отцу — хоть эстетически он и пленял его. Тургенев вообще легко забывал. Впечатлительный, и впечатлительности быстрой, текучей, он легко поддавался текучести жизни, неудержимости ее потока. Такой он юношей, такой и в зрелости.

Встречал нового человека, мог его обласкать, наговорить много доброго и приветливого, пообещать немало — и в данную минуту искренно — а отойдя так же искренно и позабыть о нем. Он романтически увлекался отцом. И тотчас же забыл его по смерти.

Жизнь в Петербурге сложилась неплохо. Большой интерес к «наукам и искусствам» — и осведомленность в них. Тургенев-студент Петербургского университета не просто хорошо учится: он сугубо жаден до познаний. Все хочется узнать — и латинский язык, и классиков, и побывать на выставке брюлловской «Помпеи», и посмотреть Каратыгина, и попасть на первое представление «Ревизора», и поглядеть Пушкина.

Подходила пора и самому превратиться в «сочинителя кантов». И хотя он ни «пьяница горький», ни «круглый дурак», все же занялся этим странным делом. В Петербурге, в том же самом Университете, нашел он сочувственную душу из старших. Петр Александрович Плетнев, профессор, тихий и спокойный старичек, читал русскую словесность. Это уж не Пунин со своим Херасковым. Плетнев талантами не выдавался. Но был другом Пушкина, Жуковского, Баратынского, Гоголя. Обладал хорошим вкусом. Находился в верной литературной линии — пушкинско-гоголевской. Значительность ее не все еще чувствовали — Тургеневу совсем недавно нравился Марлинский, да и Бенедиктов. Тут Плетнев в известной степени ему помог.

В начале 1837 года Тургенев представил ему первую свою поэму «Стена» — вещь полудетскую, подражательную, под «Манфреда». Со стороны артистической ничто, но как свидетельство о молодом Тургеневе важно. Разумеется, Байрон был модой. И Пушкин, и Лермонтов через него прошли. Все же душевной червоточине Тургенева, сказавшейся уж очень рано, байроновский звук подошел, и получил у него свой оттенок. Он подражал, — но не случайно выбрал предмет подражания.

Плетнев добросовестно, подслеповатыми своими глазами прочел «Стену» и забраковал. На лекции — не называя Тургенева, разобрал поэму, осудил, но с благодушием. И выходя из Университета, подзавав к себе красивого и взволнованного третьекурсника с прекрасными серыми глазами, все же ободрил его. «Сочинитель кантов» настолько осмелел, что дал ему несколько стихотворений. Плетнев взял два из них для «Современника» и через год напечатал. Не знаю, что давал ему Тургенев. Но выбрал Плетнев спокойное и описательно-элегическое стихотворение «Маститый царь лесов» — как бы подсказывая путь ясный и трезвый. Кроме того — пригласил его к себе на литературный вечер.

Первый вечер начинающего, первая встреча с писателями! Можно себе представить, как трепетал Тургенев, направляясь по морозным улицам Петербурга к Плетневу, в скромную квартиру, где-нибудь на Васильевском острове!

Первый, кого он встретил в передней, был Пушкин, ни более, ни менее — живой облик того пути, который подсказывал ему Плетнев. Встреча эта оказалась мгновенной — как молния сверкнул ему Пушкин — Плетнев не успел даже их познакомить. Человек в шляпе и шинели звучным голосом воскликнул: — «Да, да! Хороши же наши министры, нечего сказать!» — и вышел. Остались в памяти живые глаза, столь быстрые! — да белые зубы.

В гостиной Тургенев робко жался среди литераторов — взрослых и настоящих. Тут находились Воейков, Гребенка, князь Одоевский, и еще один смиренный человек, в длинном двубортном сюртуке, с лицом русского мещанина, почтительно слушавший, но когда его попросили почесть свои стихи — покрасневший и замахающий руками: «что вы, после Александра-то Сергеевича!» Это был Кольцов. Воейков читал стихи Бенедиктова. Жена Плетнева, болезненная, тихая дама заведывала своим нехитрым салоном, где о политике говорить побаивались, держались более верных берегов — литературы, и судить о ней могли просвещенно. Беседовали до полуночи. Барич Тургенев, уходя, подвез в санках покашливавшего воронежского прасола в длинном его сюртуке, шейном платочке бантиком, с голубой бисерной цепочкой часов и очень умными и очень грустными глазами. Кольцов простился с ним морозной ночью и ушел куда-то. Никогда больше они не встречались.

А Пушкина он увидел еще однажды — за несколько дней до дуэли, на утреннем концерте в зале Энгельгардта. Пушкин стоял у двери, скрестив руки, хмурый и мрачный. Тургенев кружил, как влюбленный, рассматривал и так и этак. На этот раз запомнил все: и темные раздраженные глаза, и высокий лоб, и едва заметные брови, и курчавые волосы, и бакенбарды, и африканские губы с крупными белыми зубами.

Ничего не было общего в темпераменте, складе души у изящного, слегка уже отравленного юноши с этим действительно страстным «африканцем», которому через несколько дней предстояло — корчась на снегу с простреленным животом — целиться в противника. (Представить только себе Тургенева на дуэли!) Но в слове, в духе искусства были они родственны — два русских аполлинических художника.

В сердце Тургенева Пушкин остался навсегда. Он стал для него даже некоей пробой: если что-нибудь против Пушкина, наперекор ему, значит плохо. Если за, то хорошо.

Тургенев кончил университет столь успешно, что ему предложили при нем остаться. Может быть, он и остался бы. Но уехав на каникулы в Спасское, так увлекся охотой, что диссертации не написал.

ЧУЖИЕ КРАЯ.

В мае 1838 года Варвара Петровна провожала сына Ивана из Петербурга за границу. В детстве она его собственноручно секла. Теперь рыдала, сидя в Казанском Соборе на скамеечке, во время напутственного молебна. (Но если бы можно было, то отрывав сколько полагается, при случае вновь бы его высекла). Сын уезжал в Германию на пароходе, шедшем прямо в Любек. Оттуда сухим путем должен был добраться до Берлина, продолжать учение.

Прощались горячо — среди суматохи последних минут на пристани. Варвару Петровну под руки отвели к карете. Пароход удалялся, неловко лопоча колесами, дымя темным дымом. С Варварой Петровной сделался на обратном пути обморок, ей давали

нюхать соли и натирали виски одеколоном. Сын ее стоял в это время у борта и глядел, как удаляются берега. Ему было двадцать лет, он был красив, богат, впереди, за хмурыми волнами новый мир, новые встречи, наука, быть может — любовь... Вряд ли он думал о матери. И мало огорчился, расставаясь с ней.

Пароход «Николай I» по тем временам мог считаться большим, теперешнему взору показался бы

игрушкой. На нем ехало много русских. Отцы семейств, мамыши, нянюшки и дети, детские колясочки и настоящие экипажи для путешествия по чужим странам — все это сгрудилось тут. Молодой Тургенев, тщательно выбритый, в модной «листовской» прическе, с галстуком, завязанным в виде шарфа вокруг шеи, очень скоро почувствовал себя на свободе, и эту свободу сколь мог использовал: пристрастился к карточной игре в общей каюте. Это было тем увлекательней, что мать взяла с него слово именно не притрагиваться к картам. Но соблазнил ехавший из Петербурга картежник. Как и полагается, новичку повезло, он выигрывал, сидел красный от волнения, перед ним лежали кучки золота. Хорошо, что Варвара Петровна не видала его за этим занятием! Туго бы ему пришлось.

Впрочем, и без вмешательства матери игра кончилась очень печально: недалеко уже от Любека, в самый разгар ее в каюту вбежала запыхавшаяся дама и с криком «пожар!» упала в обморок на диван. Все повскакали с мест, деньги, выигрыши, проигрыши, все позабылось. Бросились на палубу. Из под нее, близ трубы, выбивалось пламя, валил темный дым. Суматоха поднялась невообразимая. Тургенев пал духом. Он бессмысленно сидел на наружной лестнице, брызги обдавали ему лицо. Сзади гудело и бушевало пламя, выгибаясь сводом. С ним рядом оказалась богобоязненная старушка, кухарка одного из русских семейств. Она крестилась, шептала молитвы и удерживала юношу — он пытался (или делал вид, что пытается) броситься в воду. Тургенев и сам признавался, что отчасти он тут играл перед нею... как бы то ни было, минуты страшные. Обоих их извлек оттуда матрос. Прыгая по верхам экипажей, стоявших на палубе и уже загоравшихся снизу, они добрались до носа корабля. Там столпились пассажиры. Спускали шлюпку.

Тут-то Тургенев и предложил от имени матери матросу десять тысяч, если тот спасет его.

Матрос его не спасал. Крикнул юноша эти слова в тоске и отчаянии. Спасся сам, благодаря тому, что пожар начался недалеко от берега, капитан направил пароход к суше и он успел сесть на мель во время — пассажиры попрыгали в шлюпки и в мелкую воду, промокли, иззябли, наволновались, но трагедии не произошло. На Тургенева же пала некая тень. Он вел себя не весьма мужественно. Ему страстно хотелось жить. Он впервые встретился со смертью. Принять, понять ее никогда и позже не мог. Она была для него врагом, ужасом, бессмыслицей. Он молод, здоров, талантлив, впереди жизнь, в которой он скажет свое слово — это острое чувство бытия, верный спутник избранности и крикнуло его устами:

— Не хочу умирать! Спасите!

Крика о помощи ему не забыли во всю долгую, славную его жизнь. Корили в молодости, вспоминали и тогда, когда уж был он знаменитым стариком, перевирая, искажая — показали себя во всей человеческой прелести.

* * *

Берлин тридцатых годов был небольшой, довольно тихий и довольно скучный, весьма добродетельный город. Король смиренно благоговел перед Императором Николаем, немцы вставали в шесть утра, работали целый день, в десять все по домам и одни «меланхолические и нагруженные пивом ночные сторожа скитались по пустым улицам, да какой-нибудь буйный и подгулявший немец брел из Тиргартена, и у Бранденбургских ворот тщательно гасил свою сигарку, немея перед законом».

Но процветала наука. Берлинский университет был хорошо поставлен, привлекал юношей издалека, между прочим и русских. Существовали еще романтические отношения между учащими и учащимися, вроде наших «интеллигентских»: профессор считался учителем жизни, как бы ее духовным вождем. Возможны были поклонения, восторг. Выражалось это, например, в обычае серенад. Студенты нанимали музыкантов, вечером собирались у дома любимого профессора и после увертюры пели песни в честь науки, университета и преподавателей. Профессор выходил — в горячей печи благодарил поклонников. Подымались крики, студенты бросались с рукопожатиями, слезами, и т. п.

Молодой Тургенев, попав в Берлин, занялся наукой основательно, не хуже Петербурга. Слушал латинские древности у Цумпта, историю греческой литературы у Бока. А на дому зубрил латинскую и греческую грамматику — подготовки петербургского университета не хватало. Главное же, изучал Гегеля. Гегель-то и привлекал более всего в Берлин русских. В Тургенева была складка усидчивости, он мог одолевать и латынь, и греческий. Берлинский университет дал ему знание древних языков — он всю жизнь свободно читал классиков. Но Гегель завладевал и сердцем русских в ином роде. В Берлине в эти годы находились Грановский, Бакунин, Станкевич, зачинатели нашей интеллигенции, патетики и энтузиасты не хуже, а яростнее немецких студентов. Гегелевская философия оглушала и пронзала их, подымала самые «основные» вопросы — академически относиться к ней они не могли. По русскому обыкновению Гегеля обратили в идола. Поставили в капище и у дверей толпились молодые жрецы, начетчики и изуверы. Воевали и сражались из-за каждой мелочи. «Абсолютная личность», «перехватывающий дух», «по себе бытие» — из-за этого близкие друг другу люди расходились на целые недели, не разговаривали между собой. Книжонки и брошюрки о Гегеле зачитывались «до дыр, до пятен».

Тургенев погрузился во все это раздутое кипенье. «Кружки» и ночные споры на себе изведал. Знал, что такое — собираться по вечерам, в студенческой комнате, где подают чай (а к нему бутерброды с ломтиками холодной говядины) — и до утра кричать о Гегеле. Бывал и на серенадах, и сам в них принимал участие.

Особенно любили студенты Вердера, гегельянца, излагавшего учителя в возвышенном и патетическом духе, нередко применяя к жизни его учение. Вердер был молодой, верующий человек, большой душевной чистоты и доброты, друг нашего Станкевича. Тургенев слушал лекции Вердера и очень его почитал, как и Станкевича. К «кружкам» же, спорам и восторженному общению молодежи относился сдержанно: любил и ценил некоторых участников, но лично, вне собраний. Был ли слишком вообще одиночка? Или слишком уже художник? Он любил сам говорить, но больше рассказывал, изображал. От кружков же его отталкивало доктринерство, дух учительства. Тургенев смолоду любил духовную свободу, ведущую, конечно, к одиночеству.

В Берлине он не только много учился, не только видел привлекательных и духовно-высоких немецких людей, но встретился и с замечательными русскими, оказавшими на него влияние.

Со Станкевичем познакомился осенью 1838 года — благодаря Грановскому. Вначале Станкевич держался отдаленно. Тургенев робел перед ним, внутренне стеснялся. Но очарование этого болезненного (иногда впрочем, и очень веселого) юноши было огромно. Тургенев в него влюбился. Попривыкнув, вошел и в воздух Станкевича, в ту высокую искренность, простоту и вместе — всегдашний полет, которые для Станкевича характерны. Да, Станкевич создал свой «кружок». К нему принадлежали Грановский, Неверов, Тургенев и другие. Но сам он как раз никого не подавлял, ничего не навязывал и ни пред кем не блистал. Действовал тишиною и правдой. Можно было сколько угодно разглагольствовать о Гегеле и разных других модных предметах — Станкевич просто изучал нечто, и этим воспитывал.

Среди тургеневских червоточин была одна, очень его мучившая — он заметил ее за собою еще в детстве: неполная правдивость. Живое ли воображение, желание ли «блеснуть», «выказаться», текучесть ли и переменчивость самой натуры, но он иногда бывал лжив. Это отдаляло от него многих... Создавало впечатление позера и человека, на которого нельзя положиться (на него и действительно нельзя было положиться! Но он и действительно обладал даром прельщения).

Станкевич, как позднее Белинский, принял Тургенева, полюбил таким, каков он был, ни белого, ни черного, а пестрого, живого Тургенева. И тем, что принял, любовью своей, его перевоспитывал. При нем студент Тургенев не мог так распускаться. Правдивость, простота Станкевича и пафос его истинный — влияли.

Вместе со Станкевичем посещал он довольно замечательный дом, литературный салон Фроловых. Н. Г. Фролов, человек малозаметный, перевел «Космос» Гумбольдта и издавал «Магазин земледелия и путешествий». Жена его, немолодая, болезненная, очень тонкая и умная женщина, являлась центром дома. Вела разговор, вносила в него умственное изящество, высокую просвещенность. У нее встречались Александр Гумбольдт, Варнгаген Фон-Энзе, Беттина Арним. Вершины Германии видел двадцатилетний Тургенев в этом русском семействе. Гумбольдт был уже знаменитым ученым. Варнгаген писал по-немецки о Пушкине. С Беттиной входило в жизнь Тургенева веяние Гете.

Одним словом, как это всегда случалось — где бы он ни поселялся, всегда попадал в кристаллизацию умственных и духовных верхушек — а позже и вокруг себя кристаллизовал кого надо.

Но не только наукой, не только тяжеловесным и серьезным занимался он в Берлине. Любил бывать на гуляньях, маскарадах. Катался довольно много верхом — в Тиргартене. Охотничьей страсти здесь не предавался и не пил. Однако, заходил в погребок, где некогда пьянствовал и разносил филистеров романтик Гофман. Много посещал театр: черта вполне тургеневская — и впредь так будет.

С ним жил дядька, Порфирий Тимофеевич Кудряшев, человек довольно милый и не без замечательности, домашний лекарь-самоучка Варвары Петровны, ее секретарь и министр. Но главная его особенность состояла в том, что он приходился сводным братом своему молодому барину, берлинскому гегельянцу. Знал ли Иван Тургенев, что отец его крепостного Порфирия все тот же Сергей Николаевич Тургенев? Наверно нет, по крайней мере в те годы.

Порфирий состоял при нем как бы секретарем — писал иногда Варваре Петровне. Он был несколько старше своего барина-брата, но отношения у них сложились приятельские, и нередко они занимались вполне детскими делами: воспитывали случайно попавшую к ним собаку, притравливая ее к крысам. Играли в солдатики. А потом Тургенев-младший строчил старшему по- немецки любовные письма.

Сам же переписывался с матерью довольно неудачно. Как жаль, что не сохранились его письма! Но ее послания уцелели. Они прелестны. Без них Варвара Петровна казалась бы просто самодуркой-крепостницею. А это далеко не так.

Когда умер Сергей Николаевич, вся ее любовь перешла на сына. («Иван мое солнце. Когда оно закатывается, я ничего больше не вижу, я не знаю, где нахожусь»). Роман с сыном оказался столь же мучительным, как и с отцом. Сын тоже не любил ее. Ему трудно с ней переписываться, он пишет мало, вяло. Просто ему неинтересно — самое ужасное для любви слово! Забывает отвечать (по лени), иногда вдруг обижается, молчит подолгу.

«...А! Так ты изволил гневаться на меня, и пропустил пять почт, не писав. Извольте слушать, первая почта пришла — я вздохнула, вторая — я задумалась очень, третья — меня стали уговаривать, что осень... реки... почта... оттепель. Поверила. Четвертая почта пришла — писем нет! Дядя, испуганный сам, старался меня успокоить. — Нет! Ваничка болен, говорила я. — Нет! — он опять переломил руку... Словом, не было сил меня урезонить. Вот и пятая почта. Все перепугались... Думали, я с ума сошла. И текущую неделю я была как истукан: все ночи без сна, дни без пищи. Ночью не лежу, я сижу на постели и придумываю... Ваничка мой умер, его нет на свете... Похудела, пожелтела. А Ваничка изволил гневаться...»

Времена, когда Ваничку просто можно было высечь, прошли. Но быть может тогда она его меньше и любила. Он же, конечно, тогда особенно нуждался в ласке и любви, а сейчас уходил от нее, начинал широкую и славную свою, взрослую жизнь.

Сколько страсти, блеска, кипения в ее письмах! Какой темперамент! Гибкость, острота слов, чудесная их путаница, огонь, и как мало это похоже навсегда ровную и круглую прозу, прославившую сына. Ея писание — монолог, без всяких условностей, из недр, из «натуры».

«...Моя жизнь от тебя зависит. Как нитка в иголке; куда иголка, туда и нитка. Cher Jean! — Я иногда боюсь, чтобы тебя не слишком ожесточить своими упреками и наставленьями. — Но! — ты должен принять мое оправданье. Век мой имела я одних врагов, одних завистников». Вот это «но!» с восклицательным знаком, — где, в чьей прозе виданы такие вещи — и как очаровательно выходит, нервно, властно, капризно. Вовсе не дикая степная помещица писала из Спасского двуликому гегельянцу. Варвара Петровна и сама путешествовала, и была довольно просвещенной, и любила читать, читала много — преимущественно по французски. Русской литературы почти не признавала. Вообще к литературе, как и к религии ее отношение — сплошь противоречие. Писатель как будто и *gratte-papier* (писец), но вот сама она охотно читает, и образована, и латинскую поговорку приводит сыну, и укоряет свекровь, что та умеет только в карты играть. И главное, она сама — почти писатель. Как описывает свой день! Как изображает пожар! Всюду в ней артистическая натура, талант. Вот слово горькое и радостное, неожиданное для такой Салтычихи, (*) какою подавали нам ее.

«...Опять повторяю мой господский, деспотический приказ. — Ты можешь и не писать. — Ты можешь пропускать просто почты, — но! — ты должен сказать Порфирию — я нынешнюю почту не пишу к мамаше. — Тогда Порфирий берет бумагу и перо. — И пишет мне коротко и ясно — Иван Сергеевич-де, здоров, — боле мне не нужно, я буду покойна до трех почт. Кажется, довольно снисходительно. Но! Ту почту, когда вы оба пропустите, я непременно Николашку непременно высеку; жаль мне этого, а он прехорошенький и премиленький мальчик, и я им занимаюсь, он здоров и хорошо учится. Что делать, бедный мальчик будет терпеть... Смотрите же, не доведите меня до такой несправедливости...»

Довели ли Тургенев с Порфирием ее до «такой несправедливости»?

Ясно лишь одно: всегдашняя прохлада Тургенева к матери. Внимания, дружественности к ней у него нет. Варвара Петровна, например, просит его присылать из Берлина цветочных семян (в конвертах писем) — она цветы всегда очень любила, да и эти семена казались ей связью с сыном. Он иногда посылал, иногда нет, смотря по настроению. Просто он не думал — ни о ней, ни о ее желаньях.

Любви нельзя сказать: явись! У Тургенева к матери этого чувства не возникло. Он имел большие основания ее не любить. И все же его равнодушие рядом с ее пламенем не выигрывает. Она нередко грубо упрекала его (в эгоизме, расточительности) — но в своей иступленной любви, в страданиях, бессонных ночах и «несправедливостях» возбуждает она сочувствие.

* * *

А он в это время жил. Писал стихи, но прятал их, не печатал. Главное — рос, вбирал, что можно, начиная с лекций Вердера и до катаний в Тиргартене с Бертой, до ухаживаний еще за некоей девицей. Видеть, жить, обогащаться можно было еще столько, еще так он молод! А мать в какой-то Орловской губернии...

Старый дом Спасского сторел майским вечером 1839 года, и мать картинно изобразила, как уехали гости, как она легла на патэ (диван), вокруг возились дети, она начала «с Лизетой о чем-то спор», и вдруг в окне пролетела искра, за ней летящий отломок, и сразу весь сад осветился заревом. Варвара Петровна убежала в церковь. Мычали коровы, вопили женщины, мужики довольно бестолково толкались с ведрами и баграми. Деревенский пожар — ужас и беспомощность... в багровой иллюминации с розовыми клубами дыма, где носились перепуганные голуби, к полуночи от старого гнезда ничего не осталось, кроме бокового крыла. Варвара Петровна перебралась временно во Мценск.

Может быть, геглянец в Берлине и вздохнул, и задумался, но — все это дальняя Скифия, страна рабов, владык: мелькнуло и ушло. Гумбольдты же, Станкевичи, Вердеры — живое, окружающее.

В конце года Тургенев съездил, однако, в эту Скифию, побывал в Петербурге, а в начале 1840-го года через Вену попал в Италию. Рим сороковых годов! — Трудно сейчас даже представить себе его. Карнавалы на Корсо, альбанки цветочницы на Испанской лестнице, бандитские шляпы, абруцские бархатные корсеты на женщинах, ослики, папская полиция, коровы на Форуме, полузасыпанном вековым прахом — и тотчас за ним начинающаяся Кампанья, луга там, где сейчас Суд, рогатки по вечерам на улицах... и несмущаемое веянье поэзии, терпкий, живоносный воздух Рима.

В этот первый итальянский приезд ничего у Тургенева не было на душе, кроме молодости и порыва все взять, не упустить, узнать. И он зажил милой, светлой жизнью итальянского паломника. Ему нашелся превосходный сотоварищ, друг и вождь — тот же Станкевич. К Риму идет тонкий, изящный профиль Станкевича, с длинными, набок заложенными кудрями, с огромным поперечным галстуком, благообразным рединготом. Станкевич жил на Корсо. В маленькую его квартирку сходились Тургенев, Ховрины, Фролов. Недалеко гоголевская Strada Felice (ныне Via Sistina). Вероятно, часто заседали в кафе Греко, на Via Condotti, знаменитом еще со времен Гете. Главная прелесть жизни римской, конечно, вне дома, в блужданиях и экскурсиях.

Тургенев со Станкевичем много выходили, много высмотрели. «Царский сын, не знавший о своем происхождении» (так называл друга впоследствии Тургенев) доблестно водил его по Колизеям, Ватиканам, катакомбам. Воспитание Тургенева продолжалось. Италия помогла царскому сыну отшлифовать другого юного принца, престолонаследника русской литературы. Именно в Италии, на пейзаже Лациума, вблизи «Афинской школы» и «Парнаса» Рафаэля, овладевал Тургеневым дух Станкевича — дух поэзии и правды. Прелестно, что и самую Италию увидел, узнал и полюбил он в юности. Светлый ее след остался навсегда на этом патриции.

Станкевич был болезнен, — чахоточный. Может быть, это обостряло, утончало его. Придавало некую пронзительность. Тургенев вздыхал по старшей дочери Ховриных, Шушу, но довольно безболезненно. Поляк Брыкчинский, тоже туберкулезный, угощал их музыкой. Тургенев собирался брать уроки живописи, да так и не собрался. Впрочем, рисовал разные шуточные рисунки, вроде карикатур. Пожалуй, это первые черты позднейшего тургеневского сатиризма.

Рим склонен располагать к меланхолии, но прозрачной, творческой. В Риме человек чувствует свою бренность, и свою вечность. Гете, Гоголь многое в Риме создали. Тургенев учился. Станкевич заглядывал уже в бездну. Вот он подымается на четвертый этаж к Ховриным, читает стихи Пушкина и вдруг, задохнувшись, останавливается, кашляет. На поднесенном ко рту платке кровь.

Или они с Тургеневым возвращаются в коляске из Альбано, по аппиевой дороге. Близки сумерки. Прозрачно в воздухе, справа немеют под небом Сабинские горы, вершины их тронуты розовым. Акведуки, стада, все замолкшее, закаменелое. Пастухи в кожаных штанах и безбрежный купол св. Петра, и налево, к Остии, тихое полыханье заката, уходящего в море, прорезанного одинокой башней.

У высокой развалины, обросшей плющом — они идут по обеим сторонам дороги — Тургенев остановил экипаж, высунулся, крикнул:

— Divus Caius Julius Caesar!

Эхо ответило каким-то стоном. Станкевич, дотоле веселый и разговорчивый, вдруг побледнел, поник острым подбородком в свой огромный галстук.

— Зачем вы это сделали? — спросил он, когда коляска тронулась. И до самых Порта Сан-Себастьяно был молчалив. Наступал вечер. Древняя земля Кампанья дышала прахом.

Его предчувствия сбылись. Расставшись поздно весной с Тургеневым, он больше с ним не встретился: скончался летом в Нови, на руках Дьяковой и Ефремова. Тургенев находился в это время в Неаполе. А возвращался в Берлин через Геную.

Смерть Станкевича очень его взволновала, но не могла остановить. Может быть, сквозь вуаль искренней слезы острее воспринимался самый мир. Пешком путешествовал он по Швейцарии, в костюме туриста, с палкою и ранцем за плечами. Проезжая через Франкфурт, влюбился во встреченную в кондитерской красавицу-девушку (Джемма из «Вешних вод» — только она была еврейка, а не итальянка). Чуть во Франкфурте из-за нее не застрял — но не его судьба, конечно, прикрепиться к захолустной булочнице. Добравшись до Берлина, написал прекрасное письмо Грановскому о смерти Станкевича.

Станкевич был залетный гость, русский Новалис. Прилетел голубем, оставил во всех, знавших его, след чистый и нежный — и унесся. Для чего-то был нужен Тургеневу. Для чего-то оказался нужным и другой человек, уже не голубь и не залетный, с которым тоже свела его судьба. Он познакомился с Михаилом Бакуниным через месяц после смерти Станкевича. Даже поселились они вместе, быстро сблизилась, целый год прожили душа в душу. Новый друг только то имел общее с прежним, что был гегельянцем.

Здоровенный, красивый, шумный, речистый — сплошной натиск, командование. Что-то, однако, прельщало в нем Тургенева. Обратное Станкевичу — не широкая ли поза, «вдохновенность», кудри, сила? Молодому Тургеневу и «такое» очень нравилось. Совсем недалеко время, когда он увлекался Марлинским и Бенедиктовым. Портрет (редчайший) начала сороковых годов, дает Тургенева с довольно «роковым» поворотом головы, взором не без вызова, с романтическими кольцами кудрей — очень красивый и замечательный молодой человек, но уж конечно не без позы. Перед Станкевичем ему таким не пристало быть. Перед Бакуниным — как раз впору. Оба высокие, оба красивые, видные, Тургенев и Бакунин представляли отличную пару, выделявшуюся и на лекциях, и на разных собраниях. Анненкову бросились они в глаза в известном берлинском кафе Спарньяпани, где получалось много иностранных газет и журналов: разумеется, русские барчуки-гегельянцы украшали собой это учреждение.

При всем своем шуме и грохоте Бакунин в то время вовсе не «разрушал основ» — напротив, с русской яростностью защищал и оправдывал все существующее, как разумное, доводил Гегеля до последнего предела. Тургенев и тут держался тише — никогда к крайностям пристрастия не питал.

И быть может, кроме идейной близости, просто удобно и приятно ему было жить с этим жизнерадостным барином, с какого-то конца «своим». От жизни их остались некоторые свежие следы. Могли бы они вспомнить хорошие минуты, «ночные бдения», как говорил Бакунин, в их комнате — Тургенев у любимой печки, Бакунин на диване. Вечера у сестры Вареньки, где слушали бетховенские симфонии, пили чай с копчеными языками, пели, смеялись, спорили... Или визиты к фрейлейн Зольмар (молоденькой актрисе) — Тургенев в зеленом бархатном жилете, Бакуние в лиловом. Да и то же кафе Спарньяпани...

Кажется, эта полоса Тургенева, берлинско-итальянская — из лучших его полос.

В РОССИИ.

Он вернулся на родину нарядным и блестящим юношей. Любил франтить — носил лорнет, щеголял разноцветными сюртуками и жилетами — панталоны тогда шили узкие, со штрипками, и очень нежных цветов. Любил поболтать, пустить пыль в глаза. Разумеется прихвастнуть. Внешний его облик довольно долго еще не совпадает с тем, чем надлежало ему быть в действительности. Многих это обманывало. Уже позже, встречая на Невском высокого, красивого юношу, очень изысканно одетого, Панаев не думал, что это поэт, философ — принимал за светского барчука. Не так ли франтил в свое время Петрарка в Авиньоне? Только моды были иные: итальянский поэт занимался правильностью кудрей, обрамлявших лоб.

Тургенев жил летом в Спасском, зимой в Москве с матерью на Остоженке, в доме Лошаковского, занимая комнаты в мезонине — теплые, уютные, с нерасказуемой прелестью старинных московских домов, запахом вековой мебели, легких курений, с

лампадками в углу, засохшими вербами перед иконами. Он много выезжал. В московских салонах часто появлялся — там же, где блистал прежде Пушкин, Грибоедов, где можно было встретить Гоголя и Хомякова, Аксакова, Чаадаева. Думал сдать магистерский экзамен, получить кафедру философии. Ничего из этого не вышло. Так и остался Тургенев того времени маменькиным сынком, молодым человеком с поэтическими устремлениями.

С матерью уживался еще очень прилично. Она была счастлива, что сын вернулся. В Спасском закармливала его любимым крыжовенным вареньем. А он стрелял дупелей, рассказывал, валяясь на огромном диване-патэ, сказки маленькой Варе Житовой, воспитаннице, и иногда с ней же делал набеги на знаменитый бакалейный шкаф Спасского, находившийся у входа в каменную галлерею, уцелевшую от пожара — там помещалась библиотека, этим шкафом заведывал камердинер покойного Сергея Николаевича — глуховатый и слегка полоумный старик Михаил Филиппович. Тургенев с Варей забирались туда — барин уже взрослый, запретить ему нельзя! — опустошали «добро» и сласти. Старик ужасался, страдал... но ничего не мог поделать. С грустью докладывал потом Варваре Петровне: «Опять все изволили покушать! Да ведь у них так-то и желудочки расстроятся!» Конечно. Убивало и то, что вот истребляется это самое хозяйское «добро».

Но Варвара Петровна за это на сына не нападала.

— Ну, ничего, Филиппыч, придется отправить подводу в Орел. Или во Мценск.

Идиллия нарушалась, однако, темным бытом. Варвара Петровна умела портить жизнь. Дворецкого Полякова она очень ценила. Смиренную Агашу, его жену, просто любила... и когда у той появилось дитя, рассердилась. Во-первых, ребенок пищит. Второе — отвлекает мать от забот об особе Варвары Петровны (в священности своей она была глубоко убеждена).

— Если у тебя дети при тебе, ты не можешь служить мне как надо!

И распорядилась услатить дитя в деревню Петровское, там воспитывать. Агафья много терпела, долго. Но тут не покорилась. Ребенка не услали, держали тайно в Спасском, устроив как бы заговор против барыни. Дворня держалась стойко. Агафью и Андрея уважали и не выдали. Но родители вечно дрожали. Однажды крик грудного младенца чуть его не выдал — отцу пришлось зажать ему ротик рукою. Все это тянулось долго. Закончилось в Москве, позже, когда Агафья осмелилась наконец сказать прямо в лицо госпоже, что детей (еще двое родились позже) она в Москву взяла — вопреки барской воле. Что за сцена произошла, нетрудно вообразить. Агафью разжаловали, наказали, но дети все-таки остались в доме: их вновь спрятали.

Тургенев был уже не мальчик. В Москве к нему приезжал Грановский и они горячо рассуждали в верхних комнатах о крепостном праве, об освобождении крестьян. Он не мог терпеть таких историй как с Агашей — вмешивался, мучился, иногда успевал, иногда не удавалось: во всяком случае, под приличною внешностью — внутренне отношения с матерью портились.

Среди этой сытой, широкой барской жизни вновь появляются, как уже однажды раньше, дела любовные.

Афродита-Пандемос снова предстала в виде рабском, вновь на тучных нивах Спасского — скромная Афродита-швея, тихая блондинка. Он завоевал Авдотью Ермолаевну без усилий. Она робела пред ним и трепетала перед барыней. Вероятно, последнее и было самым сильным ее чувством. Ему же внушила известную нежность. Конечно, был он с нею так ласков, как никто в ее быту. Она покорно отдала ему и молодость свою, и девичество, как существу высшему. Связь оказалась простой, несколько грустной, человеческой... и неинтересной.

Разумеется, Варвара Петровна узнала обо всем. Авдотью Ермолаевну из Спасского изгнали. Тургенев поселил ее в Москве, на Пречистенке — там сняла она квартиру из двух комнат в первом этаже небольшого дома, и занялась рукоделием.

Что-то безответное, скромно-покорное остается от неяркого образа Авдотьи Ермолаевны. Орловская Дунечка, не посмевшая не ответить на случайный пыл барина. Не эту ли Дунечку, смиренно-пришедшую, вспомнил он стихотворно в сорок третьем году?

Открытое окно, сад «огромный, и темный, и немой». Они сидят у этого окна, он гладит ее распущенные волосы, она с «улыбкой томной» смотрит в сад. И соловей спасский, все дыхание тех мест, и луна.

«И ты сказала мне,

К таинственным звездам поднявши взор унылый:

Не быть нам никогда с тобой, о, друг мой милый,

Блаженными вполне!»

Я отвечать хотел, но странно замирая,

Погасла речь моя... Томительно немая

Настала тишина...

В больших твоих глазах слеза затрепетала,

А голову твою печально лобызала

Холодная луна».

Была ли, не была в этой нехитрой молодой связи частица поэзии, во всяком случае орловская Дунечка не так уж бесследно ушла из жизни Тургенева: в мае 1842 г. родила она ему дочь. Ее назвали незаметным, мещанским именем Пелагеи, а таинственная рука судьбы навсегда увела ее впоследствии из Орла и Мценска, русскую Полю пересадила в Париж, обратила в Полину и ввела в чуждую ей французскую семью иной, блистательной Полины — Виардо. Но пока молодой гегельянец ничего этого не подозревал. Дворовый Федор Лобанов выплачивал Авдотье Ермолаевне ежемесячную сумму. Тургенев же вел в

это время другой роман, смутно-интеллектуальный, рудински-разговорный и обставленный всем изяществом утонченного дворянского быта.

* * *

Странная русская семья жила в имении Премухино Тверской губернии, на берегах прохладной речки Осуги. Бакунины — отец и мать, и целое племя детей, больше девиц, но среди них и тот самый Михаил Бакунин, «Мишель», с которым молодой Тургенев прожил в Берлине целый год. Из-за Мишеля стала семья исторической, но она была, конечно, любопытна и сама по себе. Это как бы девическое царство — в нем господствовал, однако, и вел всех за собой Михаил. Сестры его, определившие «климат» Премухина — Любовь, Варвара, Татьяна и Александра Александровны. Со старинных изображений глядят эти лица, не совсем правильные, иногда (как у Варвары) вовсе некрасивые, иногда типично русские (Татьяна), но все с отпечатком незаурядности и некоего беспокойства. Во всех них, как и в брате Михаиле, вечно кипело, сгарало что-то, вечные порывы и терзания, восторги, отчаяние. Варвара в ранней юности отличалась исступленной религиозностью, пережила мучительнейшие сомнения, доходя иногда почти до безумия. Пятнадцати лет, со стиснутыми зубами и обливаясь холодным потом доводилось ей кататься по полу, заглушая страшный внутренний вопль. («Бога нет, Бога нет!») Старшая сестра Любовь была несколько тише, с огромным обаянием, но с такой же внутренней восторженностью, как и младшая, Татьяна. Все они с детства знали по несколько языков, музыку, зачитывались немецкими романтиками — Новалисом, Жан Поль Рихтером. Прodelали весь философский путь брата — то Фихте, то Гегель владели ими.

Барская жизнь того времени оставила нам хорошие архивы. Через сто лет многое можно прочесть из переписки энтузиасток с братом, между собою и с другими. Есть в этом особый «премухинский» стиль: все всегда свято, небесно, вечно, всегда сердце и ум направлены или на Бога, или на добро, любовь, человечество. Или собственная душа усовершенствуется, или даже надо спасать и «просветлять» человечество. Средних нот нет. Всегда «по звездам». Если любовь, то это парение, слияние двух душ в одну сияющую вечность, и т. п. Прекраснодушные — искреннее, иногда глубокое, иногда с несколько напыщенным оттенком. Влюбленности, слезы, много томлений и много страданий в этой семье — и замечательной, и очень несчастной. Особенности девушки привлекают и необычных друзей: «премухинским» захвачены люди как Станкевич, Белинский — у всех них сложные и запутанные сердечные дела с обитательницами Премухина. Сам «Мишель» тоже, разумеется, влюблен (в Наталию Беер), но и к собственной сестре Татьяне питает чувства довольно странные — ревность входила в них большой дозой. Он «духовно» и «патетически» был чуть ли не влюблен в нее. Ее переписка с ним местами похожа на роман.

В это Премухино и попал Тургенев в июне 1841 года, когда уехал от «Мишеля» из Берлина. Он уже встречался с Бакуниными (с Варварой, вышедшей замуж за Дьякова — за границей. Не совсем ясно, где познакомился с Татьяной, видимо, в конце 1840 г.). Еще менее ясно, когда возникло между ними то, что продержало его при ней почти до самой

Виардо. Но трудно представить себе июньские дни 1841 года вне завязки романа. Слишком все подходяще.

В Премухине был дом с колоннами у балкона, увитыми хмелем. С боков кусты сирени, жасмина, почти заглядывавшие в окна. Перед балконом цветники. Конечно, парк. Замечательная церковь, екатерининских времен, классического стиля. Извилистая Осуга. Луга, поля и перелески. Вся прелесть русского июня предстала Тургеневу в это его посещение. Еще соловьи не отошли. Кукушки кукуют, ночи коротки и звезд мало, это не звездный август. Зато чудесно благоухают луга, полные звоночников, медвяной «зари», всяких кашек, цикориев. Скоро покос. Нежны июньские вечера. Ливни сияют сквозь солнце и радугу. Молодые ржи наливаются — колос еще сизо-молочный, и как пахнут они после дождя!

Кто знает, о чем и как говорили Тургенев с Татьяной на балконе, или в беседке, под дубами Премухина. Были сладкие и нежные минуты в обрамлении типического «тургеневского» романа. Именно так, как впоследствии будет в его повестях. Тургенев играл как бы собственную пьесу. На прогулках по рощам и в ночной тьме на балконе, после сыгранного в зале Бетховена, при бледных звездах говорилось, разумеется, не мало романтических заоблачностей. «Святая дружба», вечная любовь, небеса души и многое в подобном роде, вздохи и загадочные взгляды, чувства и некая игра в них, поза, все перемешивалось и создало туманно-бродящий напиток, опьянявший — но в разной мере — обоих. Тургенева он целиком не захватил. Истинный его час еще не настал. Сердце оставалось прохладным, и он довольно точно изображал себя, когда позже писал Татьяне: «я никогда ни одной женщины не любил больше вас — хотя не люблю и вас полной и прочной любовью». Там же называет он ее «сестрой» своей и «лучшей единственной подругой». Вот именно сестра и подруга... Но она не владела им. Не плен это, а тот поэтически-эротический трепет, в котором почти постоянно Тургенев жил. На этот раз предметом его стала Татьяна. Он не лгал, говоря, что «что ни одной женщины не любил больше»: сравнивать еще не с кем. Юная влюбленность в Зинаиду, правда очень острая, все же детская болезнь. Нехитрую связь с Дунечкой вряд ли можно вообще считать — это пока и весь любовный опыт Тургенева.

Татьяна же поддалась вполне. Когда-то писала она «Мишелю»: «ты хорошо знаешь, что человек, которого я могла бы полюбить, который должен наполнить все мое сердце, все мое существо, существует лишь в моем воображении. Может быть, я встречу его лишь на небе». Она ошиблась. Встретила и на земле, и хотя была, разумеется, величайшая фантазерка и всякие чувства наряжала в романтику, все же влюбилась по настоящему.

Роман протекал в Москве, и в Премухине, и в Шашкине, орловском имении Бееров, друзей Бакуниных. Яркую и страдательную роль играла в нем Татьяна. По духу своего премухинского дома, внесла в него всю силу, восторженность и беззаветность души. «Христос был моей первой любовью. Как часто, стоя на коленях у Его Креста, я плакала и молилась Ему. Вы, мой друг, вы будете моей последней, вечно искренней, вечно святой любовью». Татьяна не могла бы сказать, что любит Тургенева «неполно», или раздвоено.

Любила всячески, и уже тогда чувствовала в нем великого художника. А у него в мае 1842 г. пицала девочка от Авдотьи Ермолаевны. Но «душевный» роман с Татьяной еще продолжался. Она все более убеждалась в неравенстве ролей и безнадежности своего положения. Сколько бессонных ночей, слез, мучений! Но уж так полагается в Премухине, да впрочем, и во всякой большой любви.

«Вчера вечером мне было глубоко, бесконечно грустно — я много играла — и много и долго думала. — Молча стояли мы на крыльце с Alexandrine — вечер был так дивно хорош — после грозы звезды тихо загорались на небе, и мне казалось, они смотрят мне прямо в душу — и хотят, чтобы я надеялась и я как будто прощалась с землей и жизнью — и жаль мне было ее — жаль мне было вас всех — и хотела удержать вас в руках моих — мне грустно было оторваться от вас — ведь жизнь не повторяется и смерть отнимает не на один миг, а навсегда»...

Тургенев уходил от нее, чем далее, тем больше. Тому, кого любила она чуть ли не как Христа, чье предчувствовала огромное назначение, судьбу блестящую, приходилось ей писать: «Я не знаю, вы сами мне сказали, что я вам чужая, что я вам ничто».

Но любовь сдается не сразу. Не так легко сердцу признать свое поражение, смириться. Оно ищет утешиться. Иной раз мелькнет для Татьяны это утешение в самоотречении и покорности воле Божией. «И если бы я могла окружить вас всем, что жизнь заключает в себе прекрасного, святого, великого, если бы я могла умолить Бога дать вам все радости, все счастье — мне кажется, я бы позабыла тогда требовать для себя самой». А рядом с этим великая горечь «непрощенной», «ненужной» любви, такое унижение любить без ответа... Иногда она «готова ненавидеть» его «за ту власть», которой сама же и покорилась.

Все это терзало и раздирало Татьяну не один месяц. В них проходит весь 42-й год. Жизнь Тургенева видимо принимает свое, с ней несвязанное течение. Человеколюбия в любви не так-то много. Тургенев вряд ли мучился ее страданиями.

Летом 43-го года наступил полный и окончательный разрыв. Внутренне он был готов давно, внешний повод — история с деньгами для «Мишеля». Михаил Бакунин попал в затруднительное положение с деньгами в Берлине — задолжал издателю Руге 2800 талеров. Татьяна просила Тургенева заплатить за брата, обещая, что отдаст ему впоследствии семья. Тургенев просьбу ее исполнил, хотя и с опозданием. Но тут он нечто написал Татьяне, очень ее задевшее. Письмо это не сохранилось. В ответе на него Татьяны говорится о желании Тургенева оскорбить ее, о «сухом и презрительном» тоне письма, чего она никак не ожидала. Уцелело еще одно, прощальное письмо ее, помеченное августом 43-го года. На нем кончается и переписка, и роман.

Что такое мог написать Тургенев? Ничего особенного. Особенная для нее была прохладность, равнодушие... Он уже не взволнован ею. Может быть, даже самая восторженность Татьяны стала ему надоедать. Этого — раз появилось — скрыть нельзя. Отсюда и тон *sec. Mergisable* она сама определила, приписав холоду презрительность.

Такова генеральная репетиция взрослого Тургенева в любви. Он победил там, где это не было для него важно. Победа не дала ему ни радости, ни счастья. Татьяне принесла страдания.

Роман отозвался в двух-трех его стихотворениях. Потом он помянул его — жестко и неудачно — в «Татьяне Борисовне и ее племяннике». Напрасно пылала Татьяна! Тургенев несмешно посмеялся над ее восторженностью, над всем «премухинским». Зачем это понадобилось ему? Понять не так легко.

* * *

За эти годы не одною, однако, любовью занимался он. В Берлине писал стихи (не уцелевшие), продолжал их писать и в России. Это уже не «Стена» — литература, настоящая поэзия. Позднейшее его писание заслонило ту полосу. Обычно знают лишь Тургенева прозаика. Но уже пора правильно распределить планы, отдать должное его молодости. Стихи исходят, разумеется, из Пушкина. Музыкальны, однако, у них есть и свой оттенок — некоей медлительности,

Волнообразной плавности. Будто хорошо плыть ему по спокойной, элегической реке. Тут, конечно, темперамент Тургенева. Это не удивляет. Не удивит и живопись в стихах — эти краски, как и манера, хорошо известны по его прозе. Мотив любви — тоже Тургенев. Но из-за музыки, живописи и пейзажа выступает, как некогда в «Стене», облик горький, уязвленный. Совсем нет в Тургеневской лирике и юных поэмах прекраснотушия премухинских барышен! Многое он любит, но над многим посмеется, многое осудит. Сиренной восторженности в нем не надо искать. Он бывает холодноват, язвителен. У него срываются иногда тяжкие слова.

Вот говорит он о толпе. Кто из поэтов любил толпу! И Пушкин ее громил. Но не пушкинские строки заключают эту вещь:

И я тяну с усмешкой торопливой

Холодной злости, злости молчаливой,

Хоть горькое, но пьяное вино.

Жизнь, люди, мир... это еще должно быть оправдано. А то вот:

...Женился на соседке,

Надел халат,

И уподобился насадке —

Развел цыплят.

Вердер Вердером, Станкевич Станкевичем, и премухинские излияния Татьяны — это один фасад, но есть и другой, горестно-иронический. Не зря мальчик, написавший «Стену», воскликнул:

Но как я неба жажду веры!

Она не пришла, как не пришла и полная, осуществленная любовь. Если бы была вера, и такая любовь, как у Татьяны (или позже у него же собственной Лизы из «Дворянского гнезда»), не было бы холодной и презрительной тоски. Странно сказать, но молодой Тургенев хорошо чувствовал дьявола — вернее мелкого беса, духа пошлости и середины. Бесплодность, испепеленность сердца оказались ему близки.

В 1843 году он написал поэму «Параша», первую вещь, обратившую на него внимание. В ней есть чудесная помещицья деревня, девушка, первый трепет любви — опять все «тургеневское». Есть и герой (сосед помещик) родственник Онегина, но с несколько иным оттенком. Нет, однако, ни Ленских, ни дуэлей... Все благополучно, и все страшно потому, что так благополучно. Поэту и хотелось бы, чтобы была трагедия. Пусть бы коснулась героини «спасительность страданья». Но вот не касается. Что-то мелькнуло прекрасное и поэтическое в их первой прогулке — вечером, в помещицьем саду. Будто начало «большого». Но это только кажется. И уже над ними тень насмешки, предвестие будущего.

Что если б бес печальный и могучий

Над садом тем, на лоне мрачной тучи

Пронесся — и над любящей четой

Поник бы вдруг угрюмой головой?

Бесу есть над чем пораздумать. Сосед женился на Параше. Отец «молодым поставил славный дом», племянник Онегина в нем поселился с милою Парашей... вероятно, стали они толстеть и разводить индюшек.

Поздравляю

Парашу, и судьбе ее вручаю —

Подобной жизнью будет жить она,

А, кажется, хохочет сатана.

С ранних лет невзлюбил Тургенев брак, семью, «основы». В горечи и пошлости жизни особенно ненавидел «мещанское счастье». Кто знает, если бы женился на Татьяне и развел бы по бакунински семью, может быть, и сам бы стал иным. Но вот, не женился, ни теперь, ни позже... Во всех Во всех противоречиях его облика есть одна горестно-мудрая, но последовательная черта: одиночество, «несемейственность».

«Параша» появилась весной 1843 года, когда он попробовал уже (по настоянию матери) службу — служил у Даля, известного этнографа и знатока языка, в Министерстве внутренних дел. Служба его не заинтересовала. И ничего из нее не вышло, как и из профессуры. Славный его путь заключался уже в книжечке «Параша».

«Парашу» прочла Варвара Петровна и — к удивлению — одобрила. Это было первое писание сына, которое она как-то признала. «Без шуток — прекрасно. Не читала я критики, но! в «Отечественных Записках» разбор справедлив и многое прекрасно... Сейчас подают мне землянику. Мы, деревенские, все реальное любим. Итак, твоя «Параша», твой рассказ, твоя поэма... пахнет земляникой».

Так писала она сыну в Петербург. Он только что познакомился там с Белинским — знакомство тоже роковое, прочно прицеплявшее его к литературе. Уезжая весной в деревню, Тургенев занес Белинскому «Парашу», не застал хозяина и оставив экземпляр, уехал. В Спасском получил тот номер «Отеч. Записок», о котором говорит мать. Белинский поместил в нем подробный, очень сочувственный разбор «Параша».

Молодой автор, в деревне, о нем появилась первая хвалебная статья... Как ясно можно представить себе Тургенева, разрезающего страницы Белинского! Волновался, то прятал, то клал книжку на видное место. Делал вид, что ему все равно, а в действительности трепетал. Приезжали соседи, смотрели, ахали... Мать что-нибудь острила, будто бы пренебрежительно — но на этот раз тоже с гордостью — «пахнет земляникой!»

Чудесное время. Май, Спасское, молодость. Только что отошла тяга. Быстро июнь пролетит. И к Петрову дню закатится Иван Сергеевич Тургенев, полный ощущения таланта своего, успеха своего, куда-нибудь за утками и дупелями, может быть вдаль, в Жиздринский уезд Калужской губернии, к разным Брыням, Сопелкам, на паре в бричке — там болота знаменитые: в его времена прямо кишели дичью.

ВИАРДО.

Полина Виардо была дочерью знаменитого испанского тенора Мануэля Гарсиа. Мать ее, Джоваккина Сичес, тоже пела, как и старшая сестра Мария, по мужу Малибран

— прославленная певица. Полину с детства учил властный и суровый отец. Первые уроки — на парусном судне, шедшем в Мексику — с голоса, без рояля. Ноты писал сам отец. Она пела с ним по вечерам, на мостике «к большому удовольствию всего экипажа».

ти удивительные уроки в океане, под открытым небом, связаны с артистическими странствиями отца: он пел и в Европе, и в Америке. В той же Мексике приходилось семье Гарсиа путешествовать на лошадях по диким лесным дорогам. Отец и брат скакали верхом рядом с экипажем женщин, по временам слезали, расчищали бурелом, нарывали цветов для дам — ехали дальше.

Полина с детства знала театр, слушала оперы, росла среди артистов. У нее оказался отличный голос. Судьба ее определилась.

Она рано начала выступать. Впервые в Брюсселе — в 1837 г., шестнадцати лет. Затем в Лондоне и Париже — камерною певицей. В Парижской Опере дебютировала в 1839 году, в «Отелло» Верди, успех имела огромный, и с этого времени начинается ее известность. Ее пригласили в итальянскую оперу. В 1841 году она вышла замуж за директора этой оперы, г. Луи Виардо — вряд ли по любви, скорее для жизненного укрепления. Виардо был на двадцать лет старше ее, по-видимому, человек смирный, просвещенный, малозаметный — муж знаменитости.

Начались ее странствия по столицам и полустолицам Европы: Лондон, Мадрид, Милан, Неаполь, Вена, Берлин — всюду она выступала, всюду покоряла. Обладала удивительным голосом, гибким, могучим, столь разнообразным, что она пела и высокие колоратуры, и партии драматического сопрано, и даже контральто (Фидес в «Пророке», «Орфей» Глюка). Сценическая ее выразительность была столь же высока, как и умение петь.

Красотою Виардо не славилась. Выступающие вперед губы, большой рот, но замечательные черные глаза — пламенные и выразительные. Волосы тоже как смоль — она зачесывала их гладко на пробор, с буклями над ушами, они очень блестели и лоснились. Любила носить шали. В разговоре жива, блестяща, смела. Характером обладала властным — в отца. Насквозь была проникнута искусством — искусство это опиралось, разумеется, на страстный женский темперамент.

На сцене она воспламенялась. И сквозь некрасоту лица излучала свое обаяние.

Древняя кровь, древние страсти таились в ней. Малибран считали более лирической певицей, Виардо трагической. Гейне ощущал в ней некую стихию, самое Природу: море, лес, пустыню. Может быть, и действительно, сберегла она в себе первозданное. Может быть, странствия юности, океаны, леса Мексики, плоскогорья Испании навсегда оставили на ней отпечаток. Гейне, человек эротический, боялся ее улыбки, «жестокой и сладостной», и чувствовал в ней экзотику. Он находил, что когда она поет, то внезапно на сцене могут появиться тропические растения, лианы и пальмы, леопарды, жирафы, «и даже целое стадо слонят».

Такова была молодая звезда, облетающая Европу, всюду побеждавшая. Россия находилась далеко, но слава ее шла и на запад: Император, двор. Петербург,

фантастические снега, фантастические гонорары. Направляясь туда, вероятно считала Виардо, что будет чуть ли не ездить на белых медведях и жить среди царей и рабов. В действительности — попала в пышный императорский Петербург 1843-го года, со всей тяжеловесной и великолепной придворной жизнью, с русским барством и блестящими театрами. Ведь это — время высшей силы Николая I-го! Фридрих Вильгельм склоняется пред ним, вся Европа трепещет.

Виардо не ошиблась, конечно, в расчетах (она вообще отлично понимала жизнь): прием оказался редкостным. В Петербурге итальянскую оперу только что возобновили, после многолетнего перерыва. Певица открыла гастроль «Севильским цирюльником» (Розина), и успех имела потрясающий. По окончании первой же арии все в зале неистовствовало, кричало, стучало, хлопало — пронеслась буря, вроде тропической, хоть и под северным небом. Одна экзотика встретилась с другой. После спектакля толпа ждала певицу у выхода. Растаскивали цветы из букетов, целовали руки, провожали карету до дома — все, как полагается в «дикой» стране.

Среди энтузиастов оказался и один молодой человек, очень образованный и речистый, красивый, элегантно одевавшийся, будущий владелец пяти тысяч «рабов», а ныне, из-за ухудшившихся отношений с матерью, ведущий жизнь весьма тесную — Иван Тургенев. В литературе за ним числилось несколько стихотворений да «Параша». В жизни — два-три неопределенных романа и кое-какие случайные влюбленности.

28-го октября, в день своего рождения, он охотился где-то под Петербургом — с гончими, или облавой на волков (последнее вероятней). Некий майор Комаров, маленький и смешной человек, познакомил его на охоте с г. Луи Виардо. Очевидно, Тургенев произвел хорошее впечатление. 1-го ноября, утром, тот же майор представил его уже самой певице, в квартире ее против Александринского театра. Тургеневу только что исполнилось двадцать пять лет, Полине шел двадцать третий. В то туманно-белое, мокрое петербургское утро с летящим снегом юная знаменитость ласково-равнодушно принимала у себя русского медведя. С ним только что познакомился муж. Его преподносили как «молодого помещика, хорошего стрелка, приятного собеседника и плохого стихотворца» — за восторгами таких медведей она сюда и приехала. Могла ли подумать тогда, что этот «молодой помещик и плохой стихотворец» станет русским классиком и в славе своей далеко превзойдет ее? Что на сорок лет будет он прикреплен к ней? Что ее собственная жизнь переплетется с его жизнью? Что г-ну Луи Виардо так до конца дней своих и охотиться с этим помещиком и мирно беседовать с ним о разных домашних делах?

Тогда, между двумя репетициями и каким-нибудь новым выступлением, среди ежедневных визитов таких же, или гораздо более знатных поклонников, Полина Виардо-Гарсиа просто улыбнулась бы, если б какая-нибудь цыганка нагадала ей подобную судьбу. Может быть, улыбнулся бы и сам Тургенев.

Но вот именно его судьба, больше всего его собственная, свершилась в двадцать пятый год его рождения и в утро начала ноября.

Началось знакомство. Он стал посещать их. Началось время, для него и сладостное, и нелегкое. Сладость заключалась в том, что он полюбил. Что опьянение владело им — сдержаться он не мог. Не только он бывал у них, и конечно, часто, но обратился и в

завсегдатая оперы, где она пела, хлопал, вызывал, неистовствовал. Повсюду ее превозносил. Говорил о ней много, жадно — злые языки утверждали, что слишком много. Быть может. Но что поделать, он ею заболел. Нравилось произносить самое имя ее. Незаметно для себя стремился навести разговор на нее — и наводил. Ядовитая дама Панаева высмеивала его за это... Ничего не осталось в истории от ее шипения, а о любви Тургенева пишутся и будут писаться книги.

Трудность его положения заключалась в неравенстве сил. Он влюблен... — она «позволяет себя любить». Для нее он один их многих, ею восхищавшихся, многих, с кем она вела легкую словесную игру.

Выделяла ли она его? В начале, по-видимому, средне. То, что впоследствии он изучил основательно: ревность — с этим встретился сразу же. За Виардо много ухаживали. Ее посещали и люди высокого общественного положения, и артисты, и молодежь. Муж в счет не шел. Луи Виардо безмолвная фигура, «полезное домашнее животное». С ним, будто бы, иногда приходилось Тургеневу беседовать уединенно, в кабинете, об охоте, и еще пожалуй о рыбной ловле, о земледелии и скотоводстве, пока Полина принимала у себя более видных гостей. Или же такая картина: огромная медвежья шкура в гостиной, распростертый русский зверь, с позолоченными когтями лап. На каждой из них по поклоннику, а королева на диване — это ее маленький двор, ручные преданные звери. Виардо смолоду взяла венценосную позу — очевидно имела на то данные, да и характер подходил: не из смиренных же она была!

Среди придворных, на соответственном, не очень важном месте, и Иван Тургенев. Являлся еще молодой человек, тоже, конечно, элегантный — Гедеонов, сын директора Императорских театров и сам драматург (в духе Кукольника) — фигура для иностранки довольно видная. Виардо благоволила к нему. Тургенев много менее. Кроме того, что заседал на золоченых лапах и соперничал с Тургеневым, написал Гедеонов пьесу «Смерть Ляпунова». В 1846 г. Тургенев длинно, основательно и по заслугам разгромил это ходульное создание в «Отечеств. Записках».

Тяжело давалось ему, конечно, в безденежье. Мать очень его прижимала. Чтобы посещать Виардо, приходилось быть хорошо одетым. Иметь возможность подносить цветы. Больше, и еще горше: чтобы в театре слушать ее, надо платить за место. Барский тон Тургенева известен — с отрочества еще сказался. Тут, перед любимой женщиной, конечно, хотелось предстать и понарядней, и блестящей. А у него в то время иной раз на еду не хватало. Питался он кое-как. И случалось пускаться на ухищрения. Недоброжелатели сохранили всякие рассказы о том, как он, сидя в райке и спускаясь в антрактах вниз, объяснял будто бы свою позицию тем, что нарочно сидит там с «клакерами». Или что устраивался не совсем лойяльно в ложе знакомых. Два простых слова, однако, все оправдывают: любовь и бедность.

Так или иначе, он за эту зиму очень с Виардо сблизился. Она его выделила из «молодых людей». Когда весной уехала, он уже писал ей. Одно письмо — тотчас по ее отъезде — уцелело. Там есть указания на довольно большую близость. Не просто «знакомый» мог написать: «Я хотел заглянуть здесь в наши маленькие комнатки, но теперь там кто-то живет». По первому впечатлению это даже слишком. Ни о каких

«наших» комнатах в прямом смысле не могло быть речи — дело касается все того же дома Демидова против Александринского театра, где они познакомились. Почему «маленькие»? Квартиру, наверно, она снимала хорошую. Но мог быть маленький будуар, где она принимала его наедине, показывала какие-нибудь фотографии, говорила о своей жизни, детстве — где, может быть, впервые обменялись они нежными взорами и словами. Во всяком случае, такое письмо мало порадовало бы г-на Виардо. Опасался ли он, страдал ли от возникавшей близости между молоденькой женой и русским «помещиком»? Кто знает! Его роль predetermined. Муж знаменитости должен быть терпелив и покорен, подавать ей утром в постель кофе, собирать статьи, рецензии, давать советы об ангажементах. И ничему не препятствовать.

Зиму 44-45г. г. Виардо вновь пела в Петербурге, вновь виделась и «дружила» с Тургеневым. Летом он ухитрился уехать за границу, разумеется, в Париж, и разумеется, из-за нее. Тем же летом гостил в Куртавенеле, парижской «Подмосковной» Виардо. Это и были первые шаги по пересадке нашего писателя на иноземную почву. И в истории его любви, и в истории писаний Куртавенель сыграл роль большую. Уже в письме 21 октября 1846 г. (в Берлин из Петербурга), Тургенев вспоминает о Куртавенеле, говорит, что много думал о нем летом, спрашивает, достроена ли оранжерея. Начинаются те милые, столь для него впоследствии драгоценные подробности о «Подмосковной», которых в дальнейшем будет еще больше. Переписка не совсем налажена. Виардо пишет неаккуратно, он упрекает ее: «А знаете, что большой жестокостью было не написать ни слова из Куртавенеля».

Возможно, Полина ленилась. Да и не так еще прочно вошел он в ее жизнь, но может быть и муж делал попытки (безнадежные) сопротивления. В более позднем письме Тургенев пишет (вновь в Берлин из Петербурга). «Адресую на ваше имя, так как не знаю, находится ли ваш супруг в Берлине» — как будто он должен писать на имя мужа, тот за всем этим следил. Впрочем, тут же сказано: «Обещайте написать мне на другой же день после первого немецкого представления... Я же, со своей стороны, теперь, когда плотина прорвана, намерен затопить вас письмами».

«Плотина прорвана», значит, она воздвигалась... со стороны ли г-на Виардо, или самой Полины, неясно. Видно лишь, что не все шло гладко. Но теперь, в ноябре, затруднения устранены. Открывается многолетний ряд тургеневских писем Полине Виардо, точные записи и мелочей жизни, и важного, и о куртавенельском кролике, и о Кальдероне — некий преданный дневник, направляемый к «прекрасной даме» — с лирическими свирелями по ее адресу. Можно по-разному это оценивать. Может быть, письма любви и вообще не подлежат оглашению: их звук хорош для двоих, чужому они покажутся преувеличенными, чрезмерно умиленными. Во всяком случае в письмах Тургенева много золотых подробностей, сорвавшихся невзначай слов, милых, иногда чудесных блесков. И в приведенном письме, сквозь тон преданности и полного подчинения видно, что писал начинавший созревать Тургенев, человек очень просвещенный, знающий и театр, и музыку, на искусство имеющий свой глаз. Она пела в Берлине «Норму». «Вы достигли» (он пишет на основании отзывов немецких газет), «теперь и того, что усвоили себе элемент трагический (единственный, которым не владели в совершенстве)». Советует внимательно перечесть «Ифигению» Гете (в этой опере она должна была выступать в Берлине), вдуматься в нее как следует: «вам предстоит иметь

дело с немцами, которые почти все знают «Ифигению» наизусть». (Да и сам он знал Гете отлично — много лучше, чем она). Предупреждает, что хотя она хорошо выговаривает по-немецки, но иногда преувеличивает ударения, чего надо избегать.

Так что, если все это пишет и верный, пристрастный, уже «свой» человек, все же нельзя обходить его мнения, не считаться с ним: из заседавших на золоченых медвежьих лапах в доме Демидова оказался он умственно и духовно наиболее ей по плечу. Любила ли она его? В изяществе, уме, красоте молодого Тургенева было много привлекательного. Конечно, ей это нравилось. Еще нравилось — его любовь к ней. Но она не болела им. Он не имел над ней власти. Она не мучилась по нем, не страдала, не пролила той крови сердца, которую требует любовь.

* * *

Кто был он сам к этому времени? «Параша» окончательно ввела его в литературу. Аплодируя Виардо в театре, рассказывая о ней и восторгаясь ею по знакомым, иногда рисуясь и «играя» (молодой Тургенев терпеть не мог быть «как все»), что вело его иногда на невыгодные пути), жил он и подземною жизнью художника, далекою от фатовства и поэмы.

Издали, с расстояния чуть не столетия, облик Белинского не кажется уж столь заманчивым и привлекательным. Но в «становлении» Тургенева Белинский роль сыграл — и не малую.

В Тургеневе противоречий было достаточно. Одно из них: не будучи энтузиастом, часто энтузиазм высмеивавший (и вообще очень склонный к иронии), он питал слабость именно к энтузиастам. О Станкевиче и Бакунине упоминалось. Теперь Белинский занял место вдохновителя при Тургеневе.

Главное сближение с Белинским произошло после «Параши», летом 1844 года. Белинский жил в Лесном, под Петербургом, Тургенев в Парголово, неподалеку от Лесного. Каждое утро он приходил к Белинскому, уже больному, чахоточному, с лихорадочными глазами и холодными руками, подолгу и трудно кашлявшему, и они вели длиннейшие, возбужденнейшие разговоры... о Боге, назначении человека, Гегеле, о справедливости в устройстве общества, и т. п. Ходили вместе гулять. Среди сосонников и ельников тех мест, где много всякой ежевики и брусники, земляники, в пригретом, иногда душном, но всегда благоуханном и целительном северном лесу продолжали те же бесконечные разговоры. Очевидно, были они как-то нужны Тургеневу. Жена Белинского, дома, всячески уговаривала мужа помолчать, не кипятиться — конечно это приносило ему вред. Но на это и звали Виссариона неистовым, что остановить его, распаленного, с прилипшей прядью волос, в поту, кашляющего — не так-то легко. Острая душа билась в нем. Прославлены его слова оголодавшему Тургеневу:

— Мы еще не решили вопроса о существовании Бога, а вы хотите есть!

Тургенев с одинаковой увлекательностью мог спорить о Гегеле, обсуждать бытие Божие, интересоваться изящным обедом (не у Белинского, конечно), прихвастнуть и высказать какое-нибудь странное мнение. Денежно ему приходилось туго, но он не сдавался, вертелся как мог, занимал, где мог, под будущее наследство, вообще вел жизнь избалованного барчука в тесноте. Белинский его любил — всего, зная и силу его и слабость. Иногда его бранил, осаживал. И все-таки любил, и вот являлся же к нему Тургенев за пять верст, по утрам! Но тот же самый Тургенев, который уже писал влюбленные письма Виардо, который витал с Белинским в разговорных заоблачностях, оказывался способен на такую, например, штуку: вдруг он стал говорить, что у него в Парголово превосходный повар — и пригласил к себе обедать шестерых друзей, среди них Белинского и Панаевых. Те наняли коляску и к одиннадцати утра явились в Парголово. Душно, жарко, все устали и проголодались. Дача Тургенева совершенно безмолвна. Их удивило, что хозяин не вышел встречать. Но... никакого хозяина и вообще не оказалось! Белинский вскипел. У выскочившего из ворот мальчишки узнали, что барина дома нет, а повар сидит в соседнем трактире. Пришлось Панаевой купить у хозяйки дачи молока, яиц, хлеба, и кое-как подкормить приглашенных. За поваром послали мальчишку. Повар явился.

— Заказывали тебе обед на сегодня? — спросили его.

— Никак нет!

До Тургенева все-таки добрались. Он сидел в гостях у священника (по словам Панаевой «ухаживал за его дочкой»). Общество, позавтракав, отправилось к озеру. Туда явился, наконец, и бедный хозяин. На упреки Белинского отвечал, что обедать звал их на завтра. Никто этому не поверил, но тут же Тургенев так мило стал уговаривать их остаться, обещая все же накормить обедом, что они и правда остались. Повар бегал куда-то за курами, а хозяин развлекал гостей, устроил стрельбу в цель, так смешил и забавлял их, что, в конце концов, победил. Много смеялись, и он сам над собой смеялся, и рассказывал, как боялся идти к озеру от священника. Обед, как ни как, они съели — правда, в шесть вечера, вместо полудня, и уж конечно, обед оказался самый обыкновенный — пострадали старые, тощие парголовские куры.

Но пока веселился Тургенев, быть может, и вправду ухаживал за поповной, в промежутках словопрений с Белинским и вздохов по Виардо, успевал очень много и читать, и сам писал. «Андрей Колосов» лежал уже у него на столе, в рукописи, во время удивительного обеда. Пробовал он и сценические вещи («Безденежье»), написал очень серьезную статью о «Фаусте», опять стихи, и накоплялись рассказы «Бреттер», «Три портрета» (из семейной хроники, но уже с большим знанием жизни и горестных обликов ее). Быть может, задумывался и «Петушков».

Белинский дружественно следил за тургеневским писанием, но нельзя сказать, чтобы оказался очень внимательным. Было что-то покровительственное, несколько «свысока» в его отношении к Тургеневу. Тургенев беспредельно выше его, и образованнее, и талантливей: а занимает место вроде ученика. Позднее Белинский верно угадал в «Хоре и Калиныче» и во всем начале «Записок Охотника» поворот к новому. Но

весьма похоже, что нравилось ему тут больше народолюбчески-общественное, чем поэзия, чем собственно литература.

Разумеется, и крепостное право, и несвобода тогдашней жизни немало обсуждались в Лесном. Так что «борьба с крепостничеством» Тургенева и все «аннибаловы» клятвы весьма коренятся в Белинском. Крепостному праву подходил конец. Рушить его надлежало. И все-таки, Тургеневу было чем заняться и помимо этой борьбы.

Белинский находил, что у Тургенева мало «творческого дара», сближал его с этнографом Далем. Тургенев интересовал его больше как союзник в некоем деле. Он рассчитывал на него как на помощника в осуществлении «честных» целей. Собственно же поэт, художник — это оказывалось для него второстепенным.

После «Параши» Белинский охладел к Тургеневу вплоть до «Хоря» — а между тем за это время написал Тургенев и «Андрея Колосова», и «Три портрета», и «Бреттера, и «Жида», и «Петушкова» (1846-47 г. г.). Белинский одно время, как увидим, жил за границей вместе с Тургеневым. Нельзя утверждать, что он знал все эти произведения, находившиеся частью в рукописях. Но более чем вероятно, что с некоторыми в рукописях-то и ознакомился (Тургенев всегда любил читать друзьям до печатания). Во всяком случае, они не могли его особенно захватить: из них мало что выудишь для борьбы с николаевским режимом. И если к Пушкину Белинский в это время изменился, то куда уж Тургеневу...

А между тем, эта холодность так на Тургенева действовала, что одно время он собирался даже отойти от литературы. Вот удружил бы нам Белинский!

Итак, Тургенев жил разными своими слоями — и франтил, носил лорнеты, козырял, — и сочинял совсем нелегкомысленные вещи. Устраивал мальчишеские выходки и сердечно вздыхал по Виардо, писал ей об «Ифигении», Куртавенеле и прочих высоких предметах. Может быть, в «студенческих» прениях с Белинским оказывался моложе себя самого — того Тургенева, который наедине с собой задумывал произведения много постарше Белинского.

* * *

Хотя Варваре Петровне и очень понравилась «Параша», все-таки сыном она не могла быть довольна: из профессорства его ничего не вышло, из службы в министерстве тоже. В сущности, что же он делал? Сидел в Петербурге, водился с разными литераторами, писал стишки и рассказы, которыми почти ничего нельзя было заработать. Это ее раздражало. Не нравилось и увлечение Полиной. Прослушав однажды Виардо в концерте, она сказала одну известную фразу о хорошо поющей «проклятой цыганке» — в самом сочетании слов не выразила ли, бессознательно, тревогу перед судьбой?

Но недовольство свое тотчас же переводила на житейское: прижимала сына денежно. Не хочешь делом заниматься — ну подголаживай. Разумеется, сын принимал это тягостно.

Еще давние, детские воспоминания восстанавливали его против крепостничества. В молодых годах рядом стоял образ матери — очень живое воплощение строя. Появились и петербургские литераторы, тот же Белинский (позднее Панаев и Некрасов) — другой мир, другой полюс жизни. Гегельянцу Тургеневу, поклоннику просвещенной и могущественной Виардо, невместно радоваться рабовладению. Начинающему писателю не могла доставлять удовольствия цензура. Европой Тургенев оказался отравлен довольно уже давно, а своя страна, особенно на верхах, давала мало хорошего.

Уже немолодым, говоря о первом длительном своем уходе из России, Тургенев подчеркивал, что делал это из протеста, из невозможности принять тогдашнюю русскую жизнь и из желания бороться. Тут есть и правда, и преувеличение. Думал ли он уж так много, уезжая в январе 1847 года, о сражениях «проклятым режимом»? Вернее — за парадной и словесной стороной была и другая. Ведь вот не в Париж, тогдашнее горнило всяческих «течений», направлялся он, а в Берлин. С Западом у него издавна связывались хорошие воспоминания. Всегда приятно было жить среди культурных, просвещенных людей. Языки он знал в совершенстве.

Главное же: в королевском Берлине пела в январе 1847 года Полина Гарсиа-Виардо.

ФРАНЦИЯ

Новая фигура появляется в жизни Тургенева — Павел Васильевич Анненков, один из немногих его друзей «навсегда». В дальнейшем течении годов, странствий, в истории крупных писаний Тургенева всюду на горизонте, не выходя из орбиты, будет вращаться этот благосклонный человек, осторожно прогуливающийся вблизи русской литературы. Сам он не творец, и понимает это. Но у него великая любовь к литературе. В ее пестовании его заслуга. В его любви причина того, что имя Анненкова прочно вошло в нашу словесность.

Анненков тоже был барин, помещик, умеренных взглядов, но просвещенных. Как и Тургенев учился в Берлине — с Тургеневым там встречался. Как и Тургенев, любил путешествовать, жить культурно, посещать театры, музеи, галереи, лекции.

Ближе сошлись они в Петербурге. В 1847 г. Анненков выехал в Германию. Туда же отправили лечиться Белинского. Тургенев попал в Берлин в феврале, слушал Виардо и в конце апреля уехал за нею в Дрезден, где она выступала. В это время Белинский тоже оказался в Дрездене. Разумеется, Тургенев решил познакомить его с Виардо. Эта встреча довольно комична. Выдающийся, самолюбивый, больной русский литератор и европейская дива... Тургенев условился встретиться с супругами Виардо в галлерее. Он и привел туда Белинского, заранее раздражив его тем, что Виардо все знает, и отлично

покажет им лучшие картины. Белинского стесняла его неказистость, не светскость, скромность одежды. Главное же, он не владел французским языком. Для людей гордых и застенчивых такие положения трудны. Виардо знала, что у него чахотка. Она обратилась к нему и спросила, лучше ли он себя чувствует. Белинский ничего не понял. Виардо повторила, он окончательно смешался и опять не понял — теперь уже просто от смущения. Тогда она заговорила по-русски, очень смешно, и сама хохотала. Белинский не сумел обратить все это в шутку. Оправившись, ответил на «подлейшем французском языке», «каким не говорят и лошади» — и расстроился.

Виардо хохотала, объясняясь на невозможном русском. Мало веселился Белинский, ощущая свою «необразованность» рядом с блестящей испанкой. Вероятно, за все это пришлось бы расплачиваться впоследствии Тургеневу. Во время дрезденской встречи он находился в большой дружбе с Белинским. Нельзя сомневаться, что позже их пути разошлись бы. Если бы в 48 году Белинский не умер, то в шестидесятых громил бы Тургенева. И в разгром этот вошел бы, конечно, «подлейший» французский язык дрезденского знакомства.

Но в те времена «классовые противоречия» не обострялись еще между ними. Они мирно поселились на июнь втроем в Зальцбрунне — Тургенев, Белинский, Анненков.

Белинский лечился. Тургенев ничего особенного не делал, кое-что писал из «Записок Охотника». Анненков ухаживал за ними обоими, оберегал, слушал, записывал, запоминал. Вероятно, здесь определялось уже его положение при Тургеневе — ближайшего критика, опекуна, исполнителя поручений.

В этом же Зальцбрунне Белинский и Анненков на себе испытали характер Тургенева. Они жили совсем неплохо. Никаких следов ссор. Считались даже друзьями. Как будто, могли рассчитывать на известное отношение к себе Тургенева.

И вот, получив некое письмо, он заявил, что должен ненадолго съездить в Берлин — попрощаться со знакомыми, уезжавшими в Англию. Часть вещей оставил на квартире, взял с собой лишь необходимое.

Они тем и проводили его, что через несколько дней вновь увидятся.

Тургенев уезжал к Виардо. Вероятно, расставаясь с приятелями, и вправду думал, что скоро вернется. Но за Виардо он отправился в Лондон, из Лондона во Францию, а друзья сидели в Зальцбрунне и недоумевали, что с ним. Он просто сгинул. Не то, что изменил свой план — забыл о них. Искренно любил Белинского — и так же искренно вычеркнул его из памяти. Анненкову были поручены вещи. Что с ними делать, куда девать? Неизвестно. Ни Анненкову, ни Белинскому не написал он ни строчки. Будто умер. Совершенно так же поступил Санин в «Вешних водах» и Литвинов в «Дыме». С глаз долой — из сердца вон.

Верный Анненков заявился осенью в Париж с чемоданами и бельем Тургенева, передал их, наконец, по назначению. Владелец оказался жив. Анненков спросил, в чем дело. Тургенев, как всегда в таких случаях, имел вид неуверенный, даже смущенный, и только плечами пожал: да и сам, мол, не знаю! Уж так вот и приключилось.

Впрочем, мог он в свое оправдание привести одно слово, краткое, но значительное: любовь. Он входил, видимо, в полосу наибольшей близости и наибольшей «удачи» у Виардо. Три зимы в Париже, три лета в Куртавенеле...

Куртавенель, куда он попал летом 47 года — имение Виардо, километрах в шестидесяти от Парижа, на восток, близ городка Розэ. Старинный замок, времен Франциска I-го. Массивный, с пепельно-серыми стенами, большими окнами, замшелой крышей, он окружен рвами и каналами с водой — по ним ездили даже на лодке. Перед главным фасадом чудесные цветники. Каштаны, тополя. С другой стороны парк и оранжерея. А вокруг мягкий, разнообразный пейзаж средней Франции, не поражающий, но уютный и благодородный. Большая прелесть заключалась для Тургенева в Куртавенеле. Очень это ему подходило. Самый воздух Иль де Франса, голубая дымка полей — именно для него. И как хорошо, что жил он в комнате с зелеными обоями. Ветер нес ему запах сирени, лугов, полей. Шмель гудел где-нибудь в занавеске. На столе деревенские цветы. По обоям кружочками солнце сквозь каштаны — может быть, не зря многообразная Полина выбрала для него такую комнату — тут писал он голубоватые «Записки Охотника». Прохладно, нежно здесь. Да и не только в доме. Изящество, любовь разлиты и по парку, и по цветникам, каналам: все это мир Полины и Тургенева. Что-то напоминающее «Месяц в деревне». Видятся

Медленные, несколько важные их прогулки, шляпы с лентами Виардо, букли над ушами, летние платья в талию с воланами, чинная и благоговейная галантность Тургенева. Где-то на горизонте и Луи Виардо — но только на горизонте. Может быть, он иногда уезжает в Париж, или часами удит рыбу в канале. Не до него, не до него!

Явно, что и рояль звучал в замке, и немало Полина пела — навсегда запевала в свою власть северного медведя. Ее сердце приоткрывалось ему...

Он обожал Куртавенель. Говорил позже, что когда к нему подъезжает, всегда чувствует острое замирание сердца — в нежности. Плохо ему тут не приходилось. Он называл Куртавенель «колыбелью своей славы», и это верно, конечно. (Самые русские «Записки Охотника» принадлежат Франции!) О том, что это колыбель его любви, не упоминает — о ней он не высказывался, но это, конечно, так. Она сама строчится из строк позднейших писем — пронзил его Куртавенель и то, что там происходило. А происходило многое, важнейшее в любви. «Помните ли вы тот день, когда мы смотрели на небо, спокойное, сквозь золотистую листву осин?» Вспоминает о дороге, обсаженной тополями и ведущей вдоль парка в Жарриэль. «Я опять вижу золотистые листья на светло-голубом небе, красные ягоды шиповника в изгородях, стадо овец, пастуха с собаками и...еще много другого». Неизвестно ничего об этом «другом», что испытал он. Это его тайна, его счастье — счастьем ярким, удовлетворенным чувством хоть и кратким, обвит Куртавенель. Здесь, повидимому, сближение произошло полное.

В Париже жили в то время Анненков и Белинский (до конца сентября). Тургенев изредка туда наезжал — это было целое предприятие, с ездой на лошадах, в дилижансе до ближайшей станции железной дороги.

Тут и случилось, что Тургенев забыл попрощаться с Белинским, уезжавшим в Россию (навсегда! там и умер). Про эту минуту он сказал впоследствии Огаревой:

— Стихии управляют мной. Когда Белинский, умирающий, возвращался в Россию... я не простился с ним.

— Знаю, Иван Сергеевич: вас отозвала Виардо.

Но Виардо нельзя упрекать: она сама уезжала в начале октября в турне по Германии. Без Тургенева в Куртавенеле скучно. Да и последние дни хочется провести вместе. А Белинский... этот чахоточный литератор, нервный, раздражительный, который двух слов не умеет сказать по французски..?

Белинский был отчасти «персонаж из Достоевского» (которого, конечно, никто тогда не знал). Но самый этот дух Виардо не любила.

По ее отъезде Тургенев перебрался в Париж.

* * *

Все складывалось особенным образом для него в эти годы. Они оказались расцветными, и события, внутренние и внешние, ткущие наши судьбы, слагались именно так, как нужно, чтобы выдвинуть, вознести. Не зря встретил он Виардо. Не зря уехал к ней за границу. Не зря попал там в нелегкое материальное положение. И не напрасно в Петербурге именно к 47-му году возник журнал «Современник» — его ведут Некрасов и Панаев, но в устройстве его самое близкое участие принял Тургенев. «Современник» издавался и ранее — принадлежал Плетневу. Но теперь новые люди приобрели его, и все пошло по-иному. Не только для художественной жизни самого Тургенева, но и вообще для русской литературы оказался нужен некий центр. Накопились силы — им надлежало выступить. Такие писатели, как Тургенев, Толстой, Островский, Некрасов, Гончаров должны же появляться вместе — они и появились. У них и критик появился собственный — Белинский, правда, скоро умерший, однако, он печатал много в «Современнике».

Для Тургенева этот журнал связан с блистательной страницей его художества — там стали появляться «Записки Охотника». В первом же номере — «Хорь и Калиныч», доньне открывающий бесчисленные издания знаменитой книги. Рассказ вышел скромно, в отделе «смеси»! И подзаголовок («Из записок охотника»), прибавил Панаев, редактор, «с целью расположить читателя к снисхождению». Успех «Хоря» оказался огромным. Приятели типа Белинского и Панаева, а Тургенев ничего не соображая, ничего сознательно не делая, на самом деле повернул на очень свежий путь, на путь нужный, важнейший: пора было дать просто, поэтично и любовно Россию. Россию барско-крестьянскую, орловскую, мценскую, с разными Бежиными лугами, певцами и Касьянами с Красивой Мечи. Изображалось тут и крепостное право. Но главное — любование нехитрыми (нередко обаятельными) народными русскими людьми, любование полями, лесами, зорями, лугами России. «Записки Охотника» поэзия, а не политика. Пусть из поэзии делаются жизненные выводы, поэзия остается сама по себе, над всем. От крепостного права следа не осталось. Художество маленьких тургеневских очерков не потускнело.

Вот уж подлинно — из отдаления лучше он ощутил родину и посозерцал ее. За три года в Париже и Куртавенеле, под крылом Виардо, написал Тургенев пятую часть вообще всего своего творенья — а работал сорок лет!

Итак, Виардо уехал в турне по Германии — пела в Дрездене, Гамбурге, Берлине. Тургенев поселился близ Палэ-Рояля (позже жил на углу rue de la Paix и бульваров, снимал комнату. Смотря по денежным своим делам то в верхних этажах, то ниже).

Одиноко и наполнено жил. Вставал рано, занимался до двух. Нередко отправлял в «Современник» объемистые пакеты.

То это «Малиновая вода», то «Бурмистр», «Льгов»

Но не только он пишет. Так как Виардо родом испанка, то везответный Луи Виардо переводит Дон-Кихота на французский, а молодой Иван Тургенев изучает испанский. Учителя его звали сеньор Кастеляр. С этим Кастеляром работал он усердно, не хуже, чем некогда в Петербурге и Берлине. Зимой читал уже в подлиннике Кальдерона, «Поклонение кресту». Особенно восхищала его «Жизнь есть сон».

Католицизм вполне, конечно, ему чужд. Но цельность, мощь его у Кальдерона поражали. Он завидовал этой цельности. «Величайший драматург из католиков», отозвался о Кальдероне: «как Шекспир самый человечный, самый антихристианский драматург». Шекспира он любил, по Кальдерону тосковал. И даже не уединенно тосковал, а как представитель эпохи. Время свое ощущал «критическим», а не «органическим», и все более «отвращался» от него, находил в нем «мало прелести». Это говорилось и думалось чуть не сто лет назад!

«В переживаемое нами переходное время все художественные и литературные произведения представляют собою самое большее отдельные мнения, индивидуальные чувства, неясные и противоречивые размышления...; Жизнь раздробилась; теперь нет более общего великого движения, за исключением, может быть, промышленности».

Так писал он Полине, певшей в Гамбурге, в одно из морозных парижских утр — 25 декабря. (На Рождество! И во всем длинном, важном письме нет ни слова о Рождестве — след безрадостного детства).

За приведенными идут милые в старомодности своей строки: «А потому самые великие поэты нашего времени это, на мой взгляд, американцы, которые собираются прорыть Панамский перешеек и обсуждают вопрос о проведении электрического телеграфа через океан. А раз социальная революция совершится — да здравствует новая литература!»

И старомодно и современно. Бутончики его времен распустились на наших глазах.

В два часа отправлялся к татан, г-же Гарсиа (матери Полины). Там встречался с веселым Ситчесом (братом татан) и его женою — с ними пришлось ему позже жить вместе в Куртавенеле. В эти дневные посещения испанцев вновь упражнялся в благородном lingua castellana. Потом шел гулять. Любил Тюильрийский сад. Любил веселых, скакавших там детей, зарумяненных морозцем, важных нянек, краснеющее

сквозь каштаны закатное солнце, гладь и спокойствие вод в бассейнах, серую громаду Дворца. «Все это нравится мне, успокаивает, освежает после работы целого утра. Там я мечтаю...»

В юго-западном углу Тюильри, недалеко от оранжереи и Площади Согласия, на террасе вдоль Сены стоит каменный лев — Бари. Он наступил на змею, жалящую его в лапу, искалится весь от боли, извивается, и не то он ее раздавит, не то сам погибнет, неизвестно. Тургенев очень любил этого льва. Каждый раз в саду заходил к нему. Ясно видишь его высокую фигуру, с палкой, вот прогуливается он в одиночестве по террасе — за рекой дымно-розовеют облака, ползут по воде баржи. В вечереющем небе сквозь тонкие и голые ветви каштанов сухо, изящно вздымается купол со шпилем Инвалидов, темнеет благородный фасад Бурбонского дворца.

Он мог пройти вдоль Сены по террасе этой, до теперешнего avenue Paul Deroulede, и если-бы это было на несколько лет позже, то на углу его увидел бы на постаментах двух небольших сфинксов. Туловища львиц, головы и груди женские. Хвосты свиты кольцами, загадочно могут они ими похлопывать, как бичами. Быть может, приостановился бы Иван Сергеевич Тургенев, призадумался бы. «Петушков» лежал у него в столе. Собственный сфинкс распевал за границей.

Тургенев был человек легкой эротической впечатлительности. В отсутствии Виардо мог любезничать и с другими. Но главная дорога вела в Гамбург. Полиною был он одержим.

В синеем вечернем Париже с первыми фонарями выходил из Тюильри аркадами на rue de Rivoli. Направлялся в свой «Палэ Рояль». Там при газовом рожке читал что-нибудь сногшибательное в газете — вроде того, что собираются соединить телеграфом Европу с Америкой...

У Вефура обедал. Сейчас Вефур тихий, устарелый ресторан (*) с венецианскими зеркалами — такой-же немодный, как и весь палэ-Рояль — меланхолически запущенные портики с магазинами орденов крестов, пустыньность, дети, играющие среди небогатой зелени. При Тургеневе все это было оживленнее, но все-же главная слава Палэ-Рояля уже отошла. (Наши ветераны войн 1814-15 г. г., встречаясь с кем-нибудь, вернувшимся из Парижа, неизменно спрашивали: «А как поживает батюшка Палэ-Рояль?»).

Вечерами Тургенев дома не сидел. Ходил с Анненковым в театр, иногда вновь отправлялся к тапан Гарсиа. Случалось, что с Манюэлем «придумывал всякие шалости», смехотворные выдумки. Не знаю только, весело-ли веселился. В нем не было истинного юмора — смех его не всегда смешон. Он любил острить, рассказывать анекдоты, вообще забавлять. Быть может, в молодые годы — в Берлине, юношеском Спасском, Лесном, веселье его было здоровее. Но уж в Париже он производил иногда странное впечатление.

Когда приехала (несколько позже, в 1848 г.), из Рима семья Тучковых, Анненков тотчас явился к ним (и тотчас, как ему полагалось, стал помощником, гидом, и т. п.). Он привел и Тургенева. Тот стал бывать. Тут же, вблизи, жили Герцены — обе семьи дружили. Тургенев попал в огаревско-герценовскую среду, но пристроился более около женщин. Заходил к Огаревым часто. Там встречался с несколькими дамами и барышнями,

— больше сидел и разговаривал с Н. А. Тучковой, молоденькой девушкой, ничем особенным не отличавшейся. Повидимому. Он ей нравился. До известной границы — так как и впоследствии она его не возненавидела. Наверно ей казалось, что и он к ней тяготеет... именно казалось! Но во всяком случае Тургенев читал стихи, рассказывал о писаниях своих, приносил даже духи «гардени» — его любимый запах. И удивительно бывал он переменчив! То приходил очень веселый, то угрюмый, капризничал, иногда вдруг вовсе не желал разговаривать. И у Тучковой устраивал всякие «штуки»: просил позволения кричать петухом, влезал на подоконник и замечательно кукурекал. Наталия Герцен слегка сопротивлялась.

— Вы такие длинные, Тургенев, вы все тут переломаете, говорила она, — да, пожалуй, и напугаете меня.

А он просил ее бархатную мантилью, драпировался в нее «очень странно» и начинал представление — изображал сумасшедшего. Всклокачивал себе волосы, закрывал ими лоб и даже верхнюю часть лица. Огромные серые его глаза сверкали, он изображал «страшный гнев» — все это делалось для того, чтобы кого-то позабавить (да и себя развлечь?) «Мы думали, что будет смешно, но было как-то очень тяжело».

Наталия Александровна просто даже недолюбливала Тургенева. Его неврастенические выходки, странности действовали на нее нехорошо. «Странный Тургенев!» считала она. И находила в нем нечто холодное, нежилое. А при всем том: «человек он хороший!»

О, Тургенев вовсе не так ясен и покоен, как привыкли о нем думать. И кто знает, что он чувствовал, возвращаясь домой один после театра с Анненковым! (Анненков-то, конечно, мирно надевал колпак и культурно спал, а Тургенев, наедине со своими «Записками Охотника», да испанскими учебниками, да неуверенными нежностями к Виардо — в одиноких стенах комнаты близ Палэ-Рояля...).

И не одни «Записки Охотника» писал он в это время. 47-м годом помечен и «Петушков». Напомню — только напомню — содержание этого мало прославленного рассказа.

Ленивый и вялый, благодушный офицер Петушков, холостяк, сходится с молодой булочницей Василисой, в глухом городишке. Привязывается к полнотелой дуре и... погибает. Он очень просто и обыкновенно погибает, от любви. Только тут нет поэзий и романтизмов, а страшная сила женщины и невозможность освободиться. Сам Петушков по внешности из гоголевского репертуара. Он дышит еще воздухом «Ревизора» (в городке наверно живут Сквозники-Дмухановские и Земляники). Но сердцевина у него уже тургеневская. Это первый «тургеневский» человек, первый из слабых, погибающих от любви.

Василиса заводит себе друга. Петушкова выживают. Но он уже обречен. Без глупой Василисы жить не может и идет на все унижения. По незлобному сердцу Василиса даже сама плачет над ним — да что поделаешь. Из милости позволяет ему пристроиться на облучке своей жизни, сама выходит замуж еще за третьего. Петушков покорно спивается в небольшом чуланчике, у ног Афродиты-Урании.

Это нисколько не похоже на блистательную певицу и классика русской литературы.

Но... если бы находился Тургенев в восторге, пламени крепкой, надежной любви, стал ли бы заниматься таким Петушковым?

Он сам рассказывал о горьких минутах своей парижской жизни. Например: сидит дома, и вдруг напала на него такая тоска, деваться некуда. Сторы в комнате раскрашены, разные фигуры изображены, узорные, очень пестрые. Он смотрит-смотрит, потом подымается, отрывает стору, делает из нее длинный колпак, аршина в полтора. Становится в нем носом в угол и стоит. «Тоска стала проходить, мало-помалу водворился какой-то покой, наконец, мне стало весело».

Может быть, так же «весело» бывало и у Тучковых? И не в такую ли приятную минуту задуман «Петушков?»

Вот вам и голубоватые «Записки Охотника!»

* * *

Десять лет назад были иные времена, он жил в Берлине и учился одному. Теперь в Париже, из-за Кальдеронов, из-за личной жизни, из-за «Касьянов» и «Радиловых» выдвинулся и общий, всеевропейский (если не всечеловеческий) план бытия. Через Париж в то время шел большак Истории. И разумеется, русские тотчас оказались у этого большака. С самых ранних шагов была призвана Россия — тогда еще крепостная! — принять участие в надвигавшейся драме. В 47-48 году появились в Париже, кроме Тургенева, Анненкова и Белинского, Герцен и Бакунин. Судьбы этих людей различны, но все они находились в нужную минуту там, где надо. Белинский просто умер в разгар революции 48-го года. Герцен проделывал сложный и глубокий путь, изгнанником остался, и изгнанником сошел в могилу. Анненков все добросовестно запомнил — записал. Бакунин был уже не тем, что в Берлине, (т. е. темперамент тот же, но иное устремление) — он кинулся очертя голову на рожон. Тургенев — одиночка, странник, наблюдатель — все впитал, взял, что нужно. Этим как бы закруглил, сложил свой облик окончательно.

«Мир в муках рождения», писал он в январе 48-го года, по поводу речи Монталамбера против Конвента. «Париж впродолжение нескольких дней был возбужден».

В муках рождения! Рождалось современное общество, с парламентами, пролетариатом, машинизмом. В бутоне, но уже можно было разглядеть все слагаемые «нашего «мира, со всей его пестротой — культурой и озверением, высотой и низостью, обольщениями и ядами.

В Париже революция, тоже «предварительная», тоже «удачная» произошла тоже в феврале. Дня и часа ее, разумеется, тоже никто не знал. Тургенев находился в Брюсселе. Настал день, когда вдруг не пришли газеты из Парижа. Все волновались, на улицах, на площадях народ. 26 февраля! Тургенев в шесть утра лежал еще в постели, когда с шумом отворилась дверь номера и кто-то крикнул:

— Франция стала республикой!

Гарсон ветром несся по коридору, распахивал по очереди двери и сообщал новость.

Тургенев никогда воинственностью не отличался. Но тотчас бросился в Париж. Не закреплять, разумеется, завоевания революции, а смотреть. Это он всегда любил: знать, видеть...

Революция шла по всем правилам. На границе рельсы сняты, пришлось нанимать повозки, ехать в них до Дуэ. В Понтуаз прибыли к вечеру. Под Парижем путь тоже оказался разобран. Два облика революции увидел он в тот день: вот пронесся паровоз с вагоном первого класса — поезд «чрезвычайного комиссара» республики. С ним соответственные театру персонажи, махавшие трехцветными флагами. Сам комиссар, огромного роста, высунулся из окна и тоже приветствовал... мир? «Всех, всех, всех?»

Конечно, в вагоне Тургенева все и были воодушевлены (он тоже сам) — только седенький старичек, забившийся в угол с самого Дуэ, шептал про себя:

— Все пропало, все пропало!

В Париже сразу он попал в лихорадку. Вооруженные блузники разбирали камни баррикад. Всюду пестрели трехцветные кокарды. Очевидно, как и всегда в первые дни революций, заниматься будничным было нельзя. И вот начинаются весенние скитания Тургенева: то он в Палэ-Рояле, за чашкою кофе прислушивается к разговорам политическим (Палэ-Рояль оказался местом почти «на крови»: в февральскую революцию как раз между ним и Лувром впервые пролилась кровь). То идет с демонстрацией работников к Временному Правительству из-за выступления «медвежьих шапок» (раскассированных гренадеров), то попадает в толпу, шедшую мимо Мадлэн штурмовать Палату Депутатов.

Герцен, Гервег, Бакунин жили в это время в Париже. С Бакуниным он встречался (после Берлина) еще в 47 году. Бакунин сильно забирал влево, и за речь полякам был выслан, жил в Брюсселе. После февральских дней, разумеется, вернулся. Теперь от берлинского Бакунина осталось мало. Он поселился в казарме с рабочими, охраняя «революционного префекта полиции» Косидьера. Это уже настоящий большевик. Тут-то, по-видимому, и разошелся с ним Тургенев. В апреле 48-го г. Бакунин уехал в Германию, в начале мая устроил восстание дрезденских рабочих. Пруссаки взяли его в плен и чуть не расстреляли — он попал в тюрьму.

В Париже революция шла медленнее, но шире, показательней. Тургенев прожил нервную весну. Виардо по-прежнему распевала вдали. Треволнения политики, тоска, любовь... Чтобы освежиться, выезжал он иногда из Парижа. Вот, например, Ville d'Avray,

1-го мая: «Я более четырех часов провел в лесах — печальный, растроганный, внимательный, поглощающий и поглощенный. Впечатление, которое природа производит на одинокого человека, очень своеобразно. В нем есть осадок горечи, свежей, как благоухание полей, немного ясной меланхолии, как и в пении птиц...»

Париж кипел и волновался. Тургенев одиноко бродил в лесах под Парижем... Кто из переживших грозные годы в деревне русской не помнит этого ощущения в вечеряющих полях, при высоких, пурпурно-зыблящихся, затянувших небо мелко-волнистой скатертью облачках: безмерность, вечная тишина природы... а «там» — История, Война, Революция.

В этот майский день он не обошелся без слова «меланхолия» — о, сколь тургеневского слова! — и чем дальше, тем чаще оно у него встречается. Некий холодок шел уже на него из «пустой беспредельности» — он называл так небо. При подобном ощущении мира, конечно, ближе ему «влажная лапка утки», или «капли воды, падающие с морды неподвижной коровы», чем голубая безбрежность. Если Бога нет и небо пусто, то уж уютней с уткой и коровой.

Он писал, разумеется, и всякие нежности Виардо: в любовь светлее, легче уходишь, чем в коровью морду.

А «жизнь как она есть» — революция — двигалась. Ея смысл был такой, что республика не очень-то удовлетворила рабочих. Национальные мастерские провалились. Их закрыли. Безработицу не сумели одолеть. Это дало повод революции забирать все влево, влево. 15-го мая чуть не была взята Палата Депутатов. В июне настроение получилось такое, что все понимали: без крови не обойтись.

«Са а commence!» сказала Тургеневу прачка, утром 23 июня, принеся белье. Она утверждала, что на бульварах построили уже первую баррикаду. Если бы при барине был, как в берлинские времена, дядька-брат Порфирий Кудряшов, или сама Варвара Петровна, разумеется, они его не выпустили бы на улицу. Но теперь он уже взрослый, любознательный человек и приятель известных эмигрантов. Усидеть дома не мог.

Он отлично описал пестроту, нарядность Итальянского бульвара, июньское солнечное утро, раскрытые окна, откуда выглядывали женщины в чепцах, белых и розовых лентах. Видишь движение omnibusов и карет, переливы шелковых дамских платьев, летний трепет листвы на тополях («деревья свободы», разумеется).

Около Порт С.-Дени Тургенев наткнулся уже на баррикаду, по которой прогуливались блузники.

Красное знамя ядовитым язычком загадочно на ней поколыхивалось. (Этому знамени предстояло проделать многолетний, кровавый путь по Европе... и в России прославиться. Тогда вряд ли думал об этом Тургенев).

Он стоял на тротуаре, под окнами Жувенской фабрики перчаток, когда подошла колонна войск. Инсургенты неожиданно дали залп сквозь жалюзи окон занятой ими фабрики. Тургенев и другие случайные фланеры поспѣшно «отступили» на rue de L'Echiquier — попросту спаслись бегством. Еще бы Тургеневу драться! Если б он и

захотел, судьба бы не дала ему. Странник и зритель, призван он был видеть, накапливать, и самому слагаться: но не действовать.

Эти страшные июньские дни, когда резня шла на улицах Парижа, пришлось ему просидеть дома, в адской жаре, в том нервном, мучительном состоянии, как в революциях полагается. По электрическому воздуху неслись грозные вести. В один из вечеров мягкосердный Тургенев впервые услышал «веерообразные залпы»: это по мэриям расстреливали инсургентов.

Жара, кровь, пушечные выстрелы, убийства заложников, атаки, баррикады... — репетиция Коммуны разыгрывалась. От «бескровной» февральской Тургенев проделал с городом Парижем всю кривую революций. Он навсегда вынес глубокое к ним отвращение, что и характеру его отвечало. Труд, творчество, медленное созидание, так известное каждому художнику, каждому строителю, все это враждебно ядовитому язычку красного знамени, вьющемуся над баррикадой.

* * *

Жизненно Тургенева могла тревожить только мать, да Россия. Терпению Варвары Петровны подходил конец. До революции она держалась, но когда император Николай издал манифест 14 марта 48-го года, приглашавший «каждого верноподданного бороться с мятежом, возникшим во Франции», она стала настойчиво звать сына домой. Делала в Спасском даже некоторые приготовления к его приезду, пыталась обласкать тех дворовых, к кому он благоволил — но время еще не пришло, не хотелось сыну бросать Францию, Виардо, Куртавенель. Варвара Петровна перестала высылать ему деньги. Он остался на одном заработке в «Современнике», да на авансах у Краевского («Отечественные Записки»). Лето 48-го года провел в Куртавенеле, с Виардо — отдыхал после революции. Осенью ухитрился съездить на юг Франции, побывал в Тулоне, жил в Иере. Пейзажами тех милых мест, дождями сквозь тишину и радугу можно любоваться в его октябрьском письме к Виардо.

Зимой поселился в Париже на rue Tronchet, № 1 — дом этот и поныне имеет приятный, старомодный вид, и когда проходишь мимо, радостно вспомнить, что вот за этими жалюзи восемьдесят лет назад сидел, писал, любил, тосковал наш Тургенев. Виардо тот сезон проводила тоже в столице, он постоянно посещал ее. Видался часто с Герценом, у Герцена-же, весной 1849-го, заболел острым желудочным расстройством.

Произошло это так: в Париже открылась эпидемия холеры. У Тургенева в маѣ кончился срок квартиры, и он должен был уехать. В один из последних дней решил переночевать у Герцена — ночью у него сделались спазмы, тошнота, он разбудил Герцена, сказал:

— Я пропащий человек, у меня холера!

По всегдашней мнительности, он очевидно, преувеличил. Но действительно, проболел десять дней. Герцену пришлось отправить семью в Ville d'Avray, и когда Тургенев оправился, то самому туда перебраться — в Париже стало очень плохо.

Надвинулись июньские жары, город покрылся трупами. Любопытно, что эмигрант Герцен, «страшный» Герцен вспомнил в Париже 1849-го года холеру в Москве 1831-32 г. г. с чувством уважения к России, к толковости ее правительства, деятельности, отзывчивости общества. В Париже не принимали никаких мер — не оказалось ни мест в больницах, ни перевозочных средств. Трупы лежали в домах непогребенными два-три дня...

Что Герцен остался с больным Тургеневым, которого не так особенно и любил — свидетельствует о его мужестве. Но гдѣ Виардо? Может быть, уже в Куртавенеле, может быть, и в Париже.., при Тургеневе е не видно. Возможно, она его навещала (только следа от этого не осталось!), но если и не навещала, не надо этому удивляться. Пожалуй, больше подходит, чтобы не навещала. Она была женщина крепкая и расчетливая, очень разумная, ложных шагов не делала.

Оправившись, он уехал в Куртавенель — третье, последнее лето Куртавенеля. Виардо отправилась петь в Лондон. Он остался один, прожил до сентября.

Нет в этой куртавенельской его жизни событий, но она замечательна. Деревня, свобода, мечтательность, творчество... — удивительно все перемешано. Спит Тургенев до десяти часов, завтракает, играет с веселым Ситчесом на бильярде, потом у себя в кабинете в течение часа ищет сюжет, читает по-испански, пишет полстраницы... А там обед, прогулка одинокая, прогулка с Ситчесами, и уже опять устал: спит до девяти вечера... Но сколько успевает и сработать!

В промежутках: деревенские гости (всегдашние разговоры о сельском хозяйстве), ужение рыбы, катание в лодке по каналам. Сам очищает эти каналы от камышей, засоряющих их. Забавляется кроликами — на последний франк покупает их у крестьянина, кормит молоком, листьями латука. И все ходит, все смотрит, высматривает природу, хоть и галльскую, не орловскую, а и здесь он любит — и трепет листвы в тополях, и цвет отдельных листиков на розовом небе, и какую-то березу в Мезонфлёре, которую назвал Гретхен. И дуб — имя ему дал: «Гомер».

Ситчесы уезжают, он остается совсем один, во всем огромном доме. Его общество — садовник, да старуха, готовящая ему, да разные кролики, собаки, козы, деревенская птица, рыбы, парк, каналы. Денег нет. Он целиком на иждивении виардовской кухарки. Много (и прелестно) пишет самой барыне. Еще бы не любить, еще бы не мечтать в такой раме!

Ночью бывает одиноко, жутко в Куртавенельском замке. Глубокую грусть, почти страх вызывают звезды — беспредельность миров («пустое небо» Ville d'Avrey). Иногда странные испытывает чувства — возводящие к позднейшим, таинственным его произведениям.

Он сидит один в гостиной — вероятно, читает, или раскладывает пасьянс. Близка полночь. Лампа под зеленым абажуром. Пес Султан давно заснул. Вдруг слышит он два глубоких. Совершенно ясных вздоха — как дуновение пронеслись они в двух шагах. Он подымается, идет с лампою в руках по коридору. Спина его холодеет — знакомое всякому

ощущение ужаса мелкими мурашками проползает вдоль хребта. Что если сзади кто-нибудь положит на его плечо руку?

И в таком настроении как раз хочется обойти весь дом, осветить бедной лампой все потаенные его углы, в чем-то убедиться, может быть, с этим маленьким светом попытаться проникнуть во всю бездну окружающего. Иной мир, иные существа... «Могут ли слепые видеть привидения?» спрашивает он себя. Мысль направляется все к одному.

Или в другой раз, выходит на двор, тоже вблизи полуночи, прислушивается, и как чудесно «подслушивает» ночную жизнь!

Кровь шумит в ушах, и неумолкаем шорох-лепет листьев. Рыбы всплескивают на поверхности прудов — точно поцелуй. Серебристый звук падающей капли. Цикады. «Точнейшее сопрано комара». И конечно, над всем этим — звезды, нежная музыка миганий их...

Немало снов видел он в Куртавенеле, и позже. (Виардо иногда в снах Тургенева играла роль грозную). Вот сон о птицах: сам он кажется себе птицей. Берет себя за нос, чтобы высморкаться — оказывается, это клюв. Начинается полет, безумный, фантастический, над морем. Видит каких-то невероятных, черных рыб, всплывающих со дна. Их надо съесть. И таинственный ужас сковывает его. Чем это не полет с Эллис? Чем не воздух рассказа «Сон»?

* * *

Следующая зима оказалась последней для Тургенева во Франции. Провел он ее в Париже. А весной решил съездить в Россию.

Франция дала ему много. Он встречался с замечательными людьми — Жорж Занд, Меримэ, Шопеном, Мюссе, Гуно. Жил в воздухе высокой культуры. Сам много работал — написал большинство рассказов из «Записок Охотника», «Дневник лишнего человека», комедии, среди них «Месяц в деревне». Можно сказать, что «первый» Тургенев (до романов), с глубокою поэзией и неоспоримостью своих писаний сложился при Виардо. В Париже и Куртавенеле. Когда в июне 1850 года он покидал (надолго!) Францию и женщину, которую любил, это был уже почти зрелый Тургенев, познавший искусство, познавший любовь; видевший вблизи движения и падения обществ, знавший уже не романтическую тоску юноши, а спокойную печаль взрослого.

Он оставляет свои сердечные дела в неясном, как бы неразрешенном состоянии. Было некое счастье в Куртавенеле, но ни изменило круто ни его жизни, ни жизни Полины. Она продолжала оставаться женою Луи Виардо, и даже не видно драмы между ними. Ничего решительного с Тургеневым! *Са ne sert a rien* — и только. Так, или иначе относилась она к нему, полу-любила или отдаваясь лишь «принимала» его любовь (уступала временной женской слабости), — во всяком случае была права, не созидая на нем нового и «основного». Тут она вкусом женщины сильной, неколеблущейся, ощущала, что при всей своей любви Тургенев не муж, не каменная стена, не опора. Он — неясно-

поэтический туман, вздох, томление, петраркизм... но если бы она сама глубоко его полюбила, стала женой и родила ребенка, кто знает, как могло бы обернуться все...

Занимая некую царственную позицию, удерживая его при себе как вздыхателя и прославителя, поступила она очень мудро.

ДЕЛА ДОМАШНИЕ

Нельзя сказать, чтобы жизнь Варвары Петровны слагалась удачно. Счастливой она не была — ни в детстве у пьяного Сомова, ни в замужестве с Сергеем Николаевичем, ни как мать. Сыновья доставляли ей огромное огорчение — и сама все делала, чтобы их отдалить и против себя вооружить.

Сын Иван занимался не дворянским делом, жил то в Берлине, то на три года заехал во Францию, завел там себе странную привязанность «ни то, ни сё», и очевидно набирался завиральных идей. Писал ей мало, неохотно, вообще видимо уходил.

Сын Николай сошелся с некоей Анной Яковлевной Шварц — этот союз Варвара Петровна отрицала сколь могла: он был и незаконен, да и Анна Яковлевна не принадлежала к «их кругу». Николай-же Сергеевич проявил известное упорство. Он крепко, на всю жизнь полюбил эту Анну Яковлевну, поселился с нею в Петербурге, служил, давал уроки, кое-как перебивался — предпочел жить в бедности, но так, как хотел. Варвара Петровна раздражалась на него не меньше, чем на Ивана. В 1845 году она чуть не совершила из-за него преступления.

Вот как это произошло. Зная, что у сына в Петербурге некая сердечная история, она захотела все выяснить, проверить. Для этого послала в Петербург дворецкого Андрея Полякова, мужа Агашеньки. Поляков побывал у Николая Сергеевича, видел его трудную жизнь с Анной Яковлевной — пожалел молодого барина: в Спасском, вернувшись, доложил, что тот живет один, холостяком. Но нашлись в Петербурге «доброжелатели», которые сообщили все в точности, как оно и на самом деле было. Письмо пришло вскоре после приезда Полякова. Варвара Петровна до того взбеленилась, что схватив тяжелый костыль покойного Ивана Лутовинова (которым он постукивал по мешкам с деньгами в кладовой), замахнулась им на Полякова — и могла бы на месте его уложить, если бы не схватил ее во время деверь, Николай Николаевич. В ярости, в изнеможении она упала на диван, а Николай Николаевич поскорей выпроводил помертвелого Полякова.

Бедный Поляков заплатил за свою мягкость ссылкой в дальнюю деревню — и дал проявиться еще новому узору души барыни.

Агашенька, беременная, в тоске и разлуке с мужем прозябала в Спасском, страдала и только молилась, с великой кротостью (вообще эта женщина из народа, крепостная, раба — удивительный светоч и заступница за нас всех). Близилась Святая. В великий четверг Варвара Петровна была в церкви. Вдруг, перед самым причастием, с той же внезапностью, как и заносила костыль над Поляковым, вышла, села в карету и поехала домой. Как была,

в шубе, не раздеваясь, прошла к себе в уборную, где находилась Агашенька — грохнулась ей в ноги.

— Прости меня. К празднику твой муж будет здесь.

Обнимались, плакали, а потом она поехала причащаться — и никто не мог бы сказать, что произойдет на Пасху следующего года, какой новый поворот она сделает.

Произошло следующее: в Светлое Воскресение 1846 года Варвара Петровна проснулась крайне раздраженная. В церкви звонили — она отлично знала, что на Пасху всегда бывает радостный звон. Но велела позвать «министра».

— Что это за звон?

— Праздник, сударыня, святая неделя.

— Святая неделя! Праздник! Какой? У меня бы спросили, какая у меня на душе святая неделя. Я больна, огорчена, эти колокола меня беспокоят. Сейчас велеть перестать.

И колокола умолкли — весь пасхальный парад в доме, праздничный стол, куличи, пасхи — все отменено, вместо праздника приказано быть будням, и сама Варвара Петровна три дня провела в комнате с закрытыми ставнями. Их открыли только в четверг. Пасхи в том году в Спасском просто не было. Зато еще в другой раз она отменила церковный устав об исповеди: приказала оробевшему священнику исповедывать себя публично, при народе.

Можно ли было такому характеру уживаться с сыновьями — людьми уже новой, европейской складки?

Варвара Петровна знала, что Николай едва изворачивается, что Иван живет в Куртавенеле без гроша, и очень хотела видеть обоих. Но Ивану, вместо нужных ему шести тысяч на расплату с долгами и на возвращение выслала шестьсот рублей — он едва заткнул ими насущнейшие дыры. То же и с Николаем. А рядом с этим — сентиментальные мечтанья... Надеюсь, что сыновья прилетят как-то сами, по воздуху, она велит заново отделывать флигель. В огромных зеленых кадках расставляют вокруг балкона померанцевые деревья из оранжереи. По другую сторону дома испанские вишни и сливы ренклод вынесены из грунтовых сараев и накрыты сеткою от воробьев.

— Ваничка очень любит фрукты. Он будет есть их с деревьев, а я из окошка полюбуюсь на него. Ваничка в это время занимал в Куртавенеле по несколько франков у Ситчесов — но она непременно должна любоваться, как он будет есть сливы (а в оранжереях готовили ему и персики). Или — Варвара Петровна катается в коляске. Проезжая мимо оврага, заросшего травой и окаймленного тополями, вспоминает, что здесь некогда был пруд, и сыновья катались по нем в особенном ботике. Велено немедленно расчистить овраг (очевидно — и вновь его запрудить), и на стороне к большой дороге поставить столб. На нем крепостной живописец Николай Федосеев изобразил указательный перст, а с другой стороны вывел надпись: «Ils reviendront».

Все это пропало даром. Лишь весной следующего, 1850 года Варвара Петровна, сама заболев серьезно, приняла меры не сентиментальные, а действительные: послав Ивану Сергеевичу в Париж достаточно денег, чтобы он мог тронуться.

Ехать Тургеневу не хотелось. Но раздражать мать он считал опасным. В мае прощался с Куртавенелем (Виардо пела в германии), 17-го июня в последний раз виделся с Полиной. А 24-го направился из Парижа в Петербург. Он называл тогда Россию «огромным и мрачным обликом, неподвижным и туманным как Сфинкс». Полагал, что Сфинкс смотрит на него тяжелым взглядом и поглотит его.

* * *

В том сне, которым по Кальдерону (и Тургеневу) является жизнь, есть своя связность, но не так легко ее открыть. Все ясно в прошлом и неразлично в будущем. Садясь в поезд, думал ли Тургенев, что покидает запад, Париж, Виардо на целых шесть лет? Ему казалось, что вот устроит он свои дела, вернется, потом, быть может, будет вести жизнь кочевую (то тут, то там), и уж, во всяком случае не так, как получилось.

Он возвратился из парижского «пленения» более милым и очаровательным, чем когда-либо. Его знали уже и ценили в России, как писателя, автора «Записок Охотника». Ему шел тридцать второй год. В темных, густых волосах, несколько вьющихся, появилась проседь. Прекрасные задумчивые глаза. Руки большие — холеные и красивые. Он имел успех, его приглашали, баловали.

Но в Москве, у матери, тотчас пришлось ему погрузиться в тяжелые дела, далекие от поэзии и любви.

Еще осенью прошлого года Варвара Петровна до известной степени примирилась с сыном Николаем. Она разрешила ему жениться на Анне Яковлевне, настояла, чтобы он бросил службу, переселился в Москву и занялся управлением именьями. Обещала купить дом в Москве. Он вышел в отставку. Дом (на Пречистенке, недалеко от ее собственного на Остоженке) был присмотрен, но по человечески Варвара Петровна ничего не могла сделать. Она тянула. Томила, купчую совершать не торопилась: даю, но жди и трепещи. Николай и потрепетал. Дом все же купили, он в него переехал, но жить было нечем. Варвара же Петровна как бы и виду не показывала. Анну Яковлевну не принимала, с Николаем Сергеевичем создала отношения загадочные — нельзя понять, друг она ему, или тайный враг. Что-то и тянуло ее к нему, но и раздражало — вот он все-таки не так женился, как она хотела, не достаточно перед ней сгибается. Николай же Сергеевич, в душе хозяин, помещик, человек не такой блестящий, как брат (но тоже красивый) — был все-таки тоже Тургенев: сгибаться мог лишь до некоторого предела.

Иван Сергеевич встретился с матерью хорошо, но попал в нервный воздух. Он и Николай были уже вполне взрослые, наследники большого состояния — и в то же время полунищие. Николай распродал последние свои вещи, вывезенные из Петербурга. Ивану приходилось занимать направо и налево. У дворовых — управляющего Леона Иванова, у сводного брата Порфирия добывал он по тридцати, пятидесяти копеек.

Братья решили действовать. Обратились к матери: в самой почтительной и мягкой форме просили определить им какой-нибудь, пусть и небольшой, доход, только бы иметь необходимое для жизни и не беспокоить ее по мелочам. Варвара Петровна не возражала. Как будто отнеслась даже сочувственно. Обещала исполнить просьбу, и как всегда — не торопилась. «Томление» сыновей продолжалось. Наконец, приказала Леону Иванову написать две дарственные — одно имение, Сычево, отдается Николаю, другое, Кадное — Ивану. Но... дарственные эти она не оформила. Они не имели законной силы, и в любой момент могла она их отменить. Однажды утром позвала сыновей и прочла им черновик.

— Довольны ли вы теперь мною?

Иван Сергеевич ответил за себя и брата: да, довольны, если она придаст законную силу этим бумагам. Варвара Петровна надулась, но велела вечером вновь явиться, дарственные будут переписаны набело, в окончательном виде.

Братья ушли. И от того же Леона Иванова узнали, что старостам обоих «подаренных» имений послан уже приказ немедленно продать весь хлеб, в гумнах и на корню, по какой угодно цене, лишь бы скорее! Управляющий Спасского должен был наблюдать за этой продажей и деньги перевести в Москву, Варваре Петровне.

Значит, она просто их разоряла. Лишала даже зерна для посева на следующий год.

Вечером того же июльского дня в доме на Остоженке произошла тяжелая сцена. Варвара Петровна вновь позвала сыновей. Она сидела в гостиной, тасовала карты для пасьянса. В соседней зале за чайным столом — Варя Житова, воспитанница, и г-жа Шрейдер. Иван Сергеевич сел в гостиной по одну сторону матери, Николай по другую. Им подали из залы чаю. В огромном зеркале видела Варя изящные руки Варвары Петровны — она раскладывала теперь пасьянс. Сыновья помешивали в стаканах ложечками. Варвара Петровна заговорила о различных сортах чаю. Потом еще о разных пустяках. Наконец, сказала слуге:

— Позвать Леона Иванова!

Когда тот явился, коротко приказала:

— Принеси!

Через несколько минут Леон Иванов подал на подносе два конверта. Она взглянула на них, один дала Ивану, другой Николаю.

В доме мертвенно-тихо. Только шуршит бумага в руках у читающих.

— Ну, благодарите меня! — она протянула им руки для поцелуя.

Николай Сергеевич наклонился, молча поцеловал протянутую руку матери. Иван встал, прошелся взад-вперед, сказал: «*Bonne nuit, maman*», и вышел, поднялся к себе в комнату. Варвара Петровна молчала, но руки ее вздрагивали — гнев пробивался в них. За Иваном поднялся Николай и тоже ушел наверх. Там они совещались. Так как дарственные в окончательном виде были те же, что и черновики, то решили их не принимать, ни в

какие переговоры с матерью не вступать, в имения не ездить, а предъявить требование о наследстве отца.

Варвара Петровна отлично поняла, как они приняли ее «подарок». На другой день вызвала Ивана для объяснений. Тут он многое высказал ей — не только о себе, но и вообще о ее жизни и правлении. В конце разговора Варвара Петровна закричала:

— Нет у меня детей! Ступай вон!

Иван Сергеевич попытался увидеть ее на следующий день. Когда Варя доложила: *Jean est venu*, она вместо ответа схватила юношеский его портрет, изо всех сил швырнула на пол. Стекло разбилось, портрет отлетел далеко. Горничная бросилась было поднимать, но Варвара Петровна запретила трогать — не только сейчас, но и вообще: портрет пролежал на полу до октября.

Иван и Николай уехали в отцовское Тургенево. Варвара Петровна в день разрыва лежала в нервном припадке. Но отлежавшись, ничего в решении не изменила.

Лето она провела в Спасском. Сыновья жили неподалеку, в Тургеневе, но их будто и на свете не было. Она их отвергла вовсе. К себе не допускала, не отвечала на письма. Почувствовав себя однажды с утра плохо, быстро собралась и в одиночестве уехала в Москву. Через два дня, дождливым вечером, в большую балконную дверь постучали. Варя Житова и г-жа Шрейдер кончали ужин в спасской столовой. Блудный сын, Иван Тургенев, стоял на балконе с ружьем, патронташем, сеткой для дичи, весь промокший: зашел справиться о матери, узнав, что ей плохо. Он поужинал с ними, при единственной свече. Под шум осеннего дождя расспрашивал о последних днях.

Этот огромный, деревенский Тургенев в высоких сапогах, охотничьей куртке, с обветренным лицом, усталый, мокрый после скитаний по тетеревам, так живо видится в сумрачной столовой — русский аполлинический Немрод с зыбким сердцем, «Записки Охотника», только что бродившие с каким-нибудь Ермолаем или Касьяном.

Хотел он повидаться с матерью, да не вышло. Это было последнее ее путешествие. С Остоженки она попала лишь в могилу. Она хворала тяжело, мучительно. Лежала на постели красного дерева, велела приделать сбоку полочку во всю длину кровати. На полочке, как и раньше, валялись *feuilles volantes*, она коротала предсмертные часы, записывая разные свои мысли, делая заметки. Кротость, смирение не пришли к ней. Только 28-го октября (день рождения *Jean,a*) дрогнуло ее сердце. Она велела поднять с пола его портрет. А в дневнике ее прочли: «*Ma mere, mes enfants! Pardonnez-moi. Et vous, Seigneur, pardonnez-moi aussi — car l'orgueil, ce peche mortel fut toujours mon peche*». Этот *peche mortel* мешал ей примириться с сыновьями. Задыхаясь от водянки, она не сдавалась.

Все-таки, в последние дни Николай Сергеевич проник к ней. Она его не оттолкнула. Исповедавшись и причастившись, потребовала сына Ивана. Но тот находился далеко. Его известили с опозданием. Так уж и суждено было закончиться его печальным отношениям с матерью: он приехал из Петербурга, когда Варвара Петровна лежала уже в земле Донского монастыря.

Глубокую грусть вызывает повествование о ее судьбе. Смолоду нечто искалечило ее. Натура страстная и даровитая, готовая самозабвенно отдаться любви, она не встретила ее на своем пути, озлобилась, отдалась роковым силам, шедшим от темных предков, создала кумир своеволия и самовластия и губила себя им. Будучи госпожей рабов, заставляла их трепетать, но и сама не радовалась. Любя собственных детей, ожесточала их. На что нужны были ей деньги за предательски проданные посева Сычева и Кадного? Денег у нее и без того было сколько угодно. Бес терзал ее сердце, воздвигая между нею и миром, между нею и собственными детьми непроходимую стену. Она умирала одна. Может быть, лишь смиренная Агашенька, столько от нее претерпевшая, пожалела ее и помолилась о ней искренно. Варвара же Петровна и в последние, грозные часы осталась Варварой Петровной: после исповеди и причастия, когда начиналась агония, велела в соседней зале оркестру играть веселенькие польки — чтобы легче было отходить.

* * *

Пока Тургенев жил во Франции, в Спасском подрастала его дочь. Когда он возвратился, ей минуло восемь. Ее держали в черном теле, среди дворни, на попечении какой-то прачки — Авдотью Ермолаевну Варвара Петровна к себе не пустила. Девочка росла Сандрильоной. Лицом очень походила на отца. Ее за это дразнили. Называли барышней и взваливали непосильную работу.

Осенью 1850 года Иван Сергеевич писал из деревни нежные и грустные письма Виардо. Среди меланхолических воспоминаний о том, как семь лет назад они познакомились, как он по ней скучает, как «часами целует ее ноги», есть упоминание и о «маленькой Полине». Он кратко, но искренно рассказал о приключении молодости (тут же, рядом со строками романтического благоговения к Виардо, есть и язвительные о Варе Житовой). Виардо предложила взять девочку и воспитывать наравне со своими детьми. Он горячо ее благодарил. В октябре Поля отправлена на «дальний запад», чтобы стать француженкой и никогда более не увидеть России.

Тургеневу же смерть матери приносит свободу, независимость, богатство. Он получает Спасское. Раздел с Николаем прошел легко. Иван Сергеевич ни на чем не настаивал, везде уступал — это всегдашняя его черта. Не изменил и вольнолюбию своему. Дворовых отпустил, крестьян (кто того хотел) перевел на оброк. По закону 1842 года мог бы их всех освободить от «крепости», но этого не сделал: пока не было общего освобождения, отпускаемые попадали в худшие условия, чем те, кто оставался при своем прежнем (и порядочном) помещике.

Так началась для Тургенева жизнь барина и известного писателя, та жизнь, которую легко могла ему доставить мать — для этого не нужна была ее смерть. Но вот она поступила по другому...

Он жил теперь в Петербурге и Москве, широко принимал, давал обеды, вращался и в среднем кругу, и в высшем. Выступил как драматург на сцене. Шла его комедия «Холостяк», позже «Провинциалка» со Щепкиным. Успех был большой. «Меня вызывали так неистово, что я наконец совершенно растерялся, словно тысячи чертей гнались за мной».

Радостно было писать в Париж, Полине, о победе. Радостно было прибавить строки: «В момент поднятия занавеса я тихо произнес ваше имя: оно мне принесло счастье».

Щепкин, знаменитый актер, с которым Тургенев сблизился по театральным делам, повез его к Гоголю. Гоголь жил у гр. Толстого, на Никитском бульваре, в доме Талызина. Этот старинный барский дом покоем, с обширным двором и сейчас цел в Москве — сколько раз приходилось проходить мимо него, сидеть на скамеечке бульвара, вспоминать Гоголя, тяжелые последние дни его жизни!

Гоголь Тургенева знал. Считал первой величиной молодой словесности. Тургенев благоговел пред ним и описал в воспоминаниях. Вот стоит Гоголь с пером в руке у конторки, в пальто, зеленом жилете, коричневых панталонах. Острый профиль, длинный нос, губы слегка припухлые, неприятные зубы, маленький подбородок уходит в черный галстук — глаза небольшие и странные, как и весь он странный, болезненный и «умный». В этом изображении не хватает еще запаха. У Гоголя должен был быть особый запах — затхлый, сладковатый, быть может, с легким тлением. Свежего воздуха, красоты, чувства женственного — вот чего никогда не было у этого поразительного человека.

Тургенев приблизительно так его и принял. Гоголь чудесно говорил о призвании писателя, о самой работе, удивительно читал и изображал, но нелегкий дух владел им.

Знакомство было беглое. Да Гоголь находился уж и в тяжелом состоянии. Известно, как ужасны были его последние месяцы. Он умер в феврале 1852 года. Для Тургенева радости, огорчения литературы никогда из жизни не удалялись. Смерть Гоголя он принял остро, как впоследствии восхождение и победу Толстого. Он писал о Гоголе статью, пытался напечатать ее в «С.-Петербургских Ведомостях», но цензура (та самая, которую так восторгался покойный) не позволила. Тургенев выказал упорство — отослал ее в Москву Боткину и Феоктистову. Те напечатали в «Московских Ведомостях».

Непонятно, чем она огорчила власть. Восхвалялся Гоголь как писатель. И только. Никого Тургенев не задел — даже отдаленно. Но вот показалось обидно. Как так, хвалит какого-то писателишку! «Лакейского» писателя, как выразился гр. Мусин-Пушкин. Да еще иметь дерзость напечатать в Москве, когда в Петербурге уже запретили!

Тургенева арестовали. Посадили, по распоряжению Государя. На съезжую, т. е. при полицейской части: высидеть предстояло месяц. Сидение не оказалось ни страшным, ни даже неудобным. Ему отвели отдельную комнату, отлично кормили, к нему ездили друзья, он много, по обыкновению, читал, написал «Муму». Конечно, самый воздух участка ни для кого не сладок. Рядом с приличным тургеневским помещением наказывали

провинившихся дворовых — их крики мучили его. Досаждала жара. Иногда он нервно шагал взад вперед по камере, высчитывая, сколько сделал верст.

Восемнадцатого мая его выпустили, обязав уехать в Спасское, где и жить под надзором полиции. Но все это делалось не очень строго. Он побыл еще в Петербурге, его принимали, ухаживали за ним. Он читал «Муму» на вечере у А. М. Тургенева. Была весна, сирень цвела, черемуха. Вероятно, он чувствовал себя довольно празднично. В Спасское попал лишь в начале июня.

ССЫЛКА И ВОЛЯ.

В большом доме Спасского, где некогда проходило его детство, жили теперь супруги Тютчевы — Николай Николаевич управлял имением. Тургенев поселился отдельно, во флигеле, состоявшем из нескольких комнат. Началась его идиллическая ссылка. Она состояла в том, что барин ездил на охоту, читал умные книжки, писал свои повести, раскладывал шахматные партии, слушал бетховенского «Кориолана» в исполнении Александры Петровны Тютчевой с сестрой — и по временам подвергался наездам станowego. «Ссылный» не принимал его. При Варваре Петровне такого станowego, если он без достаточной почтительности въехал бы, с колокольчиками, прямо в усадьбу, пожалуй, и вытолкали бы. Иван Сергеевич высылал ему в прихожую десять рублей. Представитель могущественнейшей Империи низко кланялся и отступал, пожелав барину «продолжения его благополучия и успехов во всех желаниях и начинаниях». Другой «наблюдатель» иногда следил за ним в разъездах, на охоте — тоже, очевидно, маленький и скромный: однажды он надоел преступнику и тот побил его хлыстом.

Первое лето и осень целиком ушли на охоту. Тургенев неутомим в своем занятии, в своей страсти — эта страсть прошла чрез всю его жизнь, охота связала его с Виардо, охота питала и литературу.

Вокруг Спасского, в Мценском уезде, особых охотничьих мест нет, это полистый край, не найдешь ни вырубков по большим лесам (для тетеревов), ни хороших болот. Перепела в овсах, коростели в сырых низинах, кое-где по лугам дупеля, бекасы, утки в озерах да несколько тощих тетеревиных выводков по опушкам каких-нибудь «Егорьевских кустов» — это не могло насытить Тургенева. Осенью попадались пролетные вальдшнепы, он подымал их, возможно, у себя же в парке из под опавшей, благоуханной листвы в прозрачный сентябрьский день. Весной стаивал на небогатой тяге, вслушиваясь в удивительное хорканье, но самое раздолье, самая охотничья благодать — засесть в тележку, или в тарантас, со своим кучером, со своим охотником (каким-нибудь Ермолаем-Афанасием) — закатиться в западные уезды Орловской, или близлежащие Калужской губернии — Жиздринский, Козельский. Ездил и в Брянский, Трубчевский. Сколько давали такие поездки! Не одной только дичи: пейзажей, мест, нравов, встреч с разными мельничихами, запахов полей, лесов, овсов. Ночлегов на сеновалах, привалов в лесу,

когда после долгой ходьбы по тетеревам так блаженно-вкусной кажется простая краюха ржаного хлеба. Сколько всякой снеди таскали за ним в погребцах верные слуги! Тут он плавал в простом русском народе, всех видел и знал, вслушивался в оттенок речи калужского и орловского мужика, наслушивался бесконечных рассказов где-нибудь в лесной сторожке, когда вдруг зарядит дождь, и не только что по выводку, а и носу не высунешь.

Из таких блужданий рождались «Поездка в Полесье», «Постоялый двор», «Затишье» — да вообще сквозь все тургеневское западничество его любовь к русской земле, к тетеревиной травке, красными хохолками цветущей в июле, к кустам, обрызганным росистыми каплями, откуда с треском, грохотом может подняться черныш — чудесный, краснобровый! — вся эта любовь стихийная питалась, возвращалась охотничьими скитаниями. Тургенев был западником, смолodu несколько отошел от России и в спорах со славянофилами часто Россию ругал — умом, «либеральной» своей головой, а темными недрами, откуда исходит художество — весь в России, и без того славой нашей не стал бы. Он мог бранить сколько угодно отсталость и некультурность жизни, и писать в то же время чудесных Касьянов и очаровательных «рабынь».

Осенью сообщил Аксакову (с которым гораздо ближе был по делу охоты и рыбной ловли, чем в рассуждениях о России) о плодах своей войны: всего 304 штуки — 69 вальдшнепов, 66 бекасов, 39 дупелей, 33 тетерева, 31 куропатка, 16 зайцев, и т. д., вплоть до бедного куличка, и того записал. (Но это уж болезнь — безумие охотника, только охотнику понятное). Аксаков ответил, что это, конечно, недурно... сам же он взял 1200 штук.

Из всех этих поездок возвращался он в не совсем пустой и одинокий флигель Спасского. Там с весны жила последняя в его жизни Афродита-Пандемос, некая девушка Феоктиста, горничная его двоюродной сестры Елизаветы Алексеевны Тургеневой.

Эту Феоктисту, или Фетистку, как ее звали, впервые он увидел у кузины в Москве еще в 51-м году.

Фетистка была черненькая, тонкая, довольно миловидная девушка, изящно сложенная, с небольшими руками и ногами. Она сразу ему понравилась. Слабое его сердце поплыло. Виардо далеко, в неопределенных западных туманах, трудная, сложная. Маленькая Фетистка тут рядом и никаких сложностей нет. Впрочем, они возникли с кузиной. Елизавета Алексеевна, девица бойкая и жизненная, сообразила, что Ивану очень понравилась ее горничная, и когда он захотел выкупить ее, заломила соответственную цену. Это не остановило Тургенева. Варвары Петровны в живых не было, власти над собой он не чувствовал, деньгами обладал немалыми. И выкупил Фетистку. Надарил ей всякого добра, платьев, шалей и т. п. — и привез в Спасское. От барыни Фетистка перешла к барину, стала его любовницей, нарядней одевалась и сытнее ела, жизнь вела бесцветную. Скучала и даже раздражалась при его попытках сколько-нибудь ее просветить — научить чтению, дать какое-нибудь образование.

Наполнить человеческим своим существом флигель Спасского Фетистка не могла. Женская ее природа была нужна Тургеневу, но как некогда и с Авдотьей Ермолаевной, связь с нею прошла для него вполне по поверхности.

Его «внутренность» поглотилась литературой. И сама зима оказалась полезной. Она наступила на редкость рано, в первых числах октября, занесла, запушил все Спасское, завывала метелями, наносила сугробы, каких Тургенев давно не видывал. Он обычно жил в деревне летом и осенью — а зимой в столицах. Но теперь ссылка прикрепила его к Спасскому. Дала чудесную нашу зиму ощутить и пережить. Поднесла в виде особенно ярком, сказочном. Зима в деревне для писателя всегда полезна. Она сгущает его, уединяет, очищает. Именно так и жил Тургенев. Во флигеле он писал, читал, занимался шахматами, в большом доме слушал музыку Тютчевых и вел разговоры, для Фетистки недоступные. Шахматы, музыка, зимнее уединение — что может быть лучше для поэта? Размышляя над шедеврами Морфи, Андерсена, занялся он в рождественские метели писанием романа.

В ссылке Тургенев написал несколько общеизвестных вещей — «Постоялый двор», «Два приятеля», и кое-что из мелочей. Это не так много прибавило к его созданию. С внешней стороны ничего не прибавил и роман — он не попал даже в печать — но это крупное, важное упражнение перед «Рудиным» (без него и «Рудин» не написан бы), а кроме того и автобиография.

Работал он над романом так горячо, как только может трудиться полный сил человек в дивных условиях зимы, барства, одиночества и обеспеченности. Форма ему еще не далась. Друзья, которым он к весне разослал копии рукописи, забраковали ее. Роман оказался наполненным биографиями, описаниями, рассказами, но все это не приведено в движение. Изображалась властная и тяжелая, с самодурскими чертами барыня, в дом которой попадает маленькая лектриса. С нею-то и возникает сердечная история у сына помещицы, Дмитрия Петровича — человека двойственного, слабого и капризного, обладающего нравственным чувством и от него отступающего, как будто и озлобленного тяжелым детством и самого себя не весьма уважающего. По природе застенчив он, а бывает почти грубым. Капризно влюбляется, вызывает чувство ответное, но все это не прочно, ничего основательного в любви не создается, по вечной зыбкости природы. И как капризно влюбился, так же капризно впоследствии и ненавидит.

Все это очень знакомо, и очень ясно. Тургенев мог называть своего героя каким угодно именем — получился портрет некоего лица в некую полосу его жизни.

Из романа остался отрывок «Собственная господская контора». Все остальное дошло из вторых рук. Но руки Анненковых. Боткиных, Аксаковых — надежные.

* * *

Первое время разлуки с Виардо он писал ей много. Нежная меланхолия — вот тон его писем, преданность, любовь, тонкая чувственность. *Theuerste, liebste, beste Freundin* — он любил эти немецкие интимные вставочки. Осенью 1850 года вспоминает семилетие их первой встречи. В Петербурге идет «взглянуть на дом, где семь лет назад имел счастье говорить» с нею. Тою-же осенью приписка, в другом письме: «Und Ihnen küsst ich die Füße stundenlang». 5-го (17-го) декабря, в полугодовой день разлуки: «Сегодня шесть месяцев, как я видел вас в последний раз. Полгода! Это было — помните ли вы? — 17-го июня...» В том же письме: «Если бы я мог видеть вас во сне! Это случилось со мной четыре или

пять дней назад. Мне казалось, будто я возвращаюсь в Куртавенель во время наводнения. Во дворе, поверх травы, залитой водою, плавали огромные рыбы. Вхожу в переднюю, вижу вас, протягиваю вам руку; вы начинаете смеяться. От этого смеха мне стало больно...»

И вот идет время. 51-й, 52-й годы. Письма становятся реже. И тон меняется. Они очень дружественны, тоже нежны, почтительны и нередко меланхоличны. Но некая вуаль на них. Нет немецких приписок, нет *stundenland* и *beste, liebste*... Довольно много о своей жизни, занятиях, книгах, но прохладнее, спокойнее. Какая-бы ни была Фетистка, сколь бы поверхностно ни задевала, все-таки она тут, рядом, и писать о ней он не мог. Неизвестны ни письма Виардо, ни она сама за эти годы — ее жизнь... Чем она тоже жила, при ее страстности и темпераменте? Стариком мужем?

Весной 1853 года Виардо приезжала в Россию петь. Тургенев достал паспорт на имя какого-то мещанина и ухитрился съездить в Москву. По-видимому, они виделись — но тайно, скрытно: грозила все же полицейская опасность.

Неизвестно, как они встретились. Вернувшись в Спасское из Москвы, он опять куда-то уезжал, не вдаль, и, возвратившись, получая дальнейшие письма, отвечает 17-го апреля: «Оба ваши письма чрезвычайно лаконичны, в особенности второе, которое точно стремительный поток; в нем каждое слово рвется быть последним. Надеюсь, когда вы освободитесь от закружившего вас вихря, то расскажете мне более подробно о том, чем вы заняты. О, милые письма, которые я застал здесь после своего возвращения, были совсем иные. Да что уж!» Вот строки — обломок скрытых от нас чувств. Какие-то не столь «лаконичные» вещи написала ему Виардо, быть может, с дыханием нежности — тотчас после встречи, вдогонку, когда он уехал из Москвы в Спасское. Оживилось ли на минуту бывшее, куртавенельское? А затем — суэта, пение, успехи вновь отодвигают его от нея — как время, отдаление и новая связь затуманивали и ее образ для него. «Тургенев-однолюб» — и верно, и неверно. Виардо прошла через всю его жизнь, но сама жизнь прямой линией не была. В мае он пишет ей: «Сад мой сейчас великолепен; зелень ослепительно ярка — такая молодость, такая свежесть, мощь, что трудно себе представить. Перед моими окнами аллея больших берез... В саду множество соловьев, иволг, кукушек и дроздов — прямо благодать! О, если бы я мог думать, что вы здесь когда-нибудь будете гулять!»

Полине Виардо, разумеется, было бы приятно гулять в таком саду и слушать соловьев. Но этих же соловьев слушала бы из раскрытого окна Фетистка, и она тоже любовалась бы зеленью и весной. Было бы это приятно Тургеневу и блистательной Полине?

Осенью 1853 года с него сняли опалу. Он мог теперь жить где угодно и что угодно делать. Вознаграждая себя за деревенское сидение, покатил в Москву и Петербург. Началась жизнь рассеянная, среди друзей как Анненков, Боткин, полу-друзей — Некрасов, Панаев, Григорович, обеды, салоны, светское общество. Тургенев начинал уже «блистать». Голова его стала почти седая — ранняя седина, тридцатипятилетняя, но глаза живые, фигура могучая, одевался он отлично, и раскинувшись в креслах где-нибудь у

графини Салиас, рассказывая своим тонким, высоким голосом — занятно и увлекательно — разумеется «украшал» гостиную: и зрительно, и духовно.

Жизнь же шла бестолково. Денег довольно много, щедрости тоже: никто никогда не укорил его в скупости. Давал он направо-налево, без разбору. Как настоящий русский писатель был кругом в авансах, и Некрасову, денежки любившему, доставлял в «Современнике» немало огорчений. Но ничего не поделаешь. Тургенев считался первым писателем, приходилось терпеть.

Он любил устраивать обеды и устраивал их неплохо. Крепостной Степан, красивый и здоровенный малый, настолько влюбленный в своего барина, что когда тот предложил ему вольную он отказался — этот Степан проявил чудесный поварской талант и украшал своим художеством стол Тургенева. Сам барин на обедах бывал мил и весел, и только когда Анненков с Гончаровым приближались к муравленому горшку со свежей икрой от Елисеева, он не без ужаса кричал:

— Господа, не забывают, что вы здесь не одни.

Боткин же, на радостях от удачного соуса, требовал, чтобы хозяин позвал Степана:

— Буду от благодарности плакать ему в жилет.

Все это приятно и весело, но одновременно Тургенев язвительно и подсмеивался над многими, сочинял эпиграммы не без злости. В позднейшей ненависти к нему Достоевского отозвалась, конечно, давняя насмешка Тургенева. Вряд ли обрадовали и Кетчера такие стихи:

Кетчер, друг шипучих вин,

Перепер он нам Шекспира

На язык родных осин.

За это время совсем прекратилась его переписка с Виардо (по крайней мере, для нас: писем не существует). Куртавенель временно затонул. Фетистка, правда, тоже сошла, но появилось другое тяготение — к молоденькой девушке, дальней его родственнице, Ольге Александровне Тургеневой. На этот раз место действия — окрестности Петербурга, Ораниенбаум, где она жила летом 1854 года (а Тургенев в соседнем Петергофе). Знакомство их шло еще со времен до высылки. У ее отца, А. М. Тургенева, изящного и просвещенного человека, и читал Иван Сергеевич написанную под арестом «Муму».

Ольга Александровна была крестницей Жуковского, девушка тихая, кроткая, хорошая музыкантша, плоть от плоти чинной и благообразной старой Руси, нечто от Лизы Калитиной, Тани из «Дыма». Роман оказался, так сказать «свирельный». Тургенев разыгрывал ласковые мелодии, что-то в нем трепетало. Девическую душу он, конечно, взволновал и взбудоражил, но пред решительным шагом остановился. Было настолько

недалеко от брака, что он говорил об этом со стариком Аксаковым, когда весною был у него под Москвой в Абрамцево. Тот гадал ему даже на картах... Но Тургенев остался Тургеневым. Брак — не для него. Томления, мечтания, нежные разговоры в отсутствие куртавенельского сфинкса это одно, перелом жизни — другое.

Он одержал над Ольгой Александровной, как некогда над Таней Бакуниной, ненужную победу. В обоих случаях главенствовал, и это его расхолаживало. Ни та, ни другая не имели над ним власти, и большой роли сыграть не могли. Но Ольга Александровна оставила более мягкое и светлое воспоминание. В «Дыме» (Таня) он помянул ее добром. И вероятно, был перед ней вообще как следует виноват: Ольга Александровна так тяжело переносила неудачу, что заболела, долго не могла оправиться.

А Тургенев... повидимому, он так же внезапно уехал от нее, как в свое время из Зальцбрунна от Белинского и Анненкова. Нельзя даже сказать, сам он уехал. Или некий легкий ветер унес его. Хорошо, или плохо он сделал, но это по тургеневски. Ответ за характер придется еще держать, но позже. А пока что была еще Россия, надвигавшаяся Крымская война, литература, творчество.

Война никак не отразилась на Тургеневе. Молодой Толстой хоть побывал в Севастополе, повоевал. Тургенев нисколько не изменил жизни, и даже в переписке его за это время о войне очень мало.

Зато настало ему время пожать плоды упражнений в ссылке. Тогда написать романа не удалось. Летом 55-го года, в том же Спасском, засеб, он в семь недель закончил «Рудина», вещь в некоем смысле дебютную и блестящую. «Рудиным» открывается полоса тургеневского романа и тургеневской наиболее широкой (но не всегда глубокой) славы. Может быть, «Рудин» как роман и не весьма ярок, не вполне удачно построен, все же сам Рудин до того русская роковая фигура, что без нее Россия не Россия (как и Тургенев не Тургенев). Все «лишние люди», все русские Гамлеты и незадачливые чеховские врачи пошли от Рудина. И так как Тургенев очень много своего вложил в эту фигуру (хотя и предполагал написать Бакунина), то получилось очень хорошо. Смесь донкихотства со слабостью, фразой, неудачничеством — единственна. Способность зажечь сердце девичье — и не удовлетворить его — как все это знакомо! Хорошо

Оказалось для литературы, что автор незадолго сам пережил роман — пустоцветный и, может быть, полный для него укоризны, но позволивший многое написать в любовной стороне «Рудина» по свежим следам.

Есть в этом произведении еще черта трогающая: отзвуки тургеневской молодости, Станкевича. Энтузиазма, студенческих «ночных бдений» над неразрешимыми вопросами. Чуть не через двадцать лет отозвался в его писании Берлин, и многое, что складывало самый облик Тургенева.

«Рудина» он привез из Спасского в Петербург. Тут, как полагается, без конца его читали приятели, советовали, хвалили, «указывали на недостатки», и как всегда Тургенев слушался их, волновался и покорно «исправлял».

Среди этих занятий приобрел он одно замечательное знакомство: в ноябре приехал из Севастополя в Петербург молодой артиллерийский офицер, граф Лев Толстой. Этого Толстого Тургенев уже несколько знал по литературе. «Кстати, не правда ли, какая отличная вещь «Севастополь» Толстого?» писал летом Дружинину. Теперь «Севастополь» явился в Петербург лично. Привез с войны всю свою угловатость, темперамент. Страстность и чудный дар. От него пахло пороховым дымом, ложементами, солдатскими словечками — как ранее полон был он Кавказа и поразительных его дикарей. Что читать мог он там? Каким нежностям и томлениям предаваться? Это был застенчивый, гордый, безмерно самомнительный и гениальный артиллерийский офицер с некрасивым и грубоватым лицом, небольшими, глубоко-сидевшими серыми глазами величайшей остроты и силы. Великорусский тяжелый нос, способность вспыхивать и безумно раздражаться, желание всегда быть особенным, ни на кого не похожим, всегда противоречить — особенно известным и видным — все оценить по-новому, исходя не из знаний, а из силы натуры. Таким можно себе представить Толстого — уже замеченного «талантливом» писателя, но еще экзаменуемого, аттестата зрелости не получившего.

Что может быть противоположнее Тургеневу? Представишь ли себе Тургенева на Кавказе, или на Малаховом кургане? Без каких-нибудь дам или барышен, пред которыми он блистает, и не может, даже не должен не блистать: он не был бы тогда Тургеневым. Или Тургенев без книг, театра, среды литераторов? Без многолетней и глубокой, тонкой просвещенности?

Он сразу понял в Толстом писателя — да еще какого! — Для него этого достаточно, чтобы за приезжего ухватиться: Тургенев очень и жизнью интересовался, а уж литературой — исключительно. Получилось даже так, что Толстой поселился у него на квартире.

Первое время все шло отлично. Всякому старшему писателю приятно опекать младшего. (Тургенев был на десять лет старше Толстого). Но — при условии послушания и почтительности. Толстой очень ценил некоторые черты Тургенева — ум, доброту. Многое высоко ставил и в «Записках Охотника». В общем же...его невлюбил. И уж никак не мог держаться скромным учеником. Да и Тургенева чем дальше, тем больше Толстой коробил. Даже жизненные привычки были у них разные. Тургенев изящно одевался, любил порядок и опрятность, от него пахло духами, он носил тонкое белье. Выезжая в общество, надевал отличный фрак. Обедать любил во время и был гастрономом. Понимал в вине, но никогда не напивался. Сидел в салонах и беседовал с дамами, но не катал по кабакам, не любил троек, цыган, кутежей.

В комнате Толстого пахло табаком, все было разбросано, сапоги могли стоять на туалетном столике, брюки валяться на рукописях, или рукописи на брюках, нередко возвращался он на рассвете, вставал Бог знает когда, полдня ходил по квартире немывтый, угрызался за «недолжную» жизнь, и тотчас начинал громить первого встречного, ел Бог знает что, на ходу, решая вопрос о правде в человеческих отношениях и чаще всего находя, что все неправда, и хорошо бы вообще весь мир переделать сверху до низу.

Разумеется, хозяин и гость не могли двух слов сказать, не заспорив. Тургенев жизнь окружающую признавал, считая, что ее надо улучшать. В Толстом сидело и тогда зерно всеобщего разрушения и постройки всего заново. Тургенев любил культуру, искусство, всякие утонченности и «хитрости». Толстой все это отвергал. Тургенев никогда не проповедывал, и не особенно моралью интересовался. Толстой все это бурно переживал. И так как был малообразован, но безмерно самолюбив и силен, то ему доставляло наибольшее удовольствие оспаривать неоспоримое.

Литературный круг Тургенева в то время составляли Некрасов, Панаев, Дружинин, Григорович, Боткин, Анненков, Писемский, Гончаров. Толстой бывал также на этих собраниях. Он играл на них роль *enfant terrible*. Ему казалось, что Тургенев слишком красноречив и «фразист», сам он перегибал в другую сторону, но желанная, столь великая простота, естественность, не так-то легко давалась: тут приходилось бы уж подыматься к Пушкину — толстовское же стремление к угловатости, «корявости», конечно, простотою не было. Разве простота вся та известная сцена, когда Толстой, возражая волнуемому Тургеневу, заявил:

— Я не могу признать, чтобы высказанное вами было вашими убеждениями. Я стою с кинжалом или саблей в дверях и говорю: «пока я жив, никто сюда не войдет». Вот это убеждение. А вы друг от друга стараетесь скрывать сущность ваших мыслей и называете это убеждением.

Ни с каким кинжалом нигде Толстой не стоял, собственную жизнь прожил в огромных противоречиях с этими самыми «убеждениями», и в некотором смысле показал себя вовсе не сильным человеком — так что выпады вроде приведенных меньше всего правдивы и просты. В них есть театр, подмостки (чего не лишен был и Тургенев, но в другом роде. Тургеневский театр условен в «изяществе», толстовский в «простоватости»).

Но Тургенев всегда знал, что он не пророк, не реформатор. Поэтому, в некотором смысле держался проще Толстого. Ему слишком близок был дух свободы и незамутненного художества.

Из личного знакомства этих замечательных людей не вышло ничего. Но странные, болезненные и тяжелые отношения тянулись всю жизнь, то обостряясь, надолго вовсе прерываясь, то возобновляясь.

И вот прошло шесть лет как покинул Тургенев Францию. Шесть очень важных лет. Из бедствующего литератора в неладах с матерью он обратился в первого писателя страны, признанного всеми, имеющего связи и в свете, и в среднем кругу, человека с хорошими средствами и вполне независимого. Слава шла к нему по заслугам. «Бежин луг», «Певцы», «Касьян с Красивой мечи», углубляли «Записки Охотника». «Фауст» вводил в таинственного Тургенева. «Рудин» показал в нем романиста. Блестящий, удачливый, красивый Тургенев... Как будто все, что нужно.

Уже с 53-го года прекратилась его переписка с Виардо (или почти прекратилась) — вслед за весенней встречей в Москве. Вряд ли встретились они плохо. Скорее

наоборот. Но что-то начало удалять их друг от друга. (Не освобождая вполне). Сказал ли он ей о себе? Дошли ли до нее вести об Ольге Александровне? Почувствовал ли он в ее жизни нечто иное? Во всяком случае, к концу этого шестилетия некое беспокойство стало точить Тургенева. Не так проста была его история с Виардо. Приходилось все досказать, дожить, доиспытать. Его вновь потянуло на запад. Осуществить это стало легче — Крымская война кончилась.

Как раз в то время Тургенев познакомился с графиней Елизаветой Георгиевной Ламберт — женщиной тонкой и умной, мистического склада, глубоко верующей. Часто навещал он ее в Петербурге на Фурштаттской, сживал наедине в уютной комнате с иконами, книгами, вел те беседы, на которые был великий мастер: что-то изливая, о чем-то вздыхал, в чем-то искал (и находил) сочувствие. Графине открыл он свои сердечные дела. Началась между ними и переписка.

Связи в свете у Елизаветы Георгиевны были большие. Он перед ней за многих хлопотал, и ему самому, видимо, помогла она в 1856 году с выездом за границу (не так охотно, все-таки, давали разрешение). В майском письме 1856 г. Из Спасского он благодарит ее «за участие», которое она оказала ему в Петербурге. Приоткрывает это письмо и кое-что в нем. «С тех пор, как я здесь, мною овладела внутренняя тревога... Знаю я это чувство! Ах, графиня, какая глупая вещь потребность счастья, когда уже веры в счастье нет!»

В июне поездка совсем налаживается.

«Позволение ехать за границу меня радует... И в тоже время я не могу не сознаться, что лучше было бы для меня не ехать. В мои годы уехать за границу значит: определить себя окончательно на цыганскую жизнь и бросить все помышления о семейной жизни». (Т. Е. быть при Виардо, не свивая «гнезда»).

А вот следующее письмо, тоже июньское: «Я не рассчитываю более на счастье для себя, т. е. на счастье в том опять-таки тревожном смысле, в котором оно принимается молодыми сердцами... Впрочем, на словах-то мы все мудрецы: а первая попавшая глупость пробежи мимо, так и бросишься за нею в погоню. Как оглянусь я на свою прошедшую жизнь, я, кажется, ничего больше не делал, как гонялся за глупостями. Дон-Кихот, по крайней мере, верил в красоту своей Дульцинеи, а нашего времени Дон-Кихоты и видят, что их Дульцинея урод, а все бегут за нею».

Слова странные, но знаменательные. Надежды на счастье нет, а гнаться за ним все же хочется. Ехать за границу опасно, а все-таки едет. Дульцинея не такая уж и красавица...

Ясно, к кому это относится. Слово соскочило тяжелое, грубое. Какой-то надлом уже был. Что-то задело. И в то же время — свободы, равнодушия нет. Будто и переписка заглохла, и другие уклоны являлись, и годы подходят (к сорока он считал себя уже «стариком»), а все-таки... грустно сидеть в великолепном Спасском, где легко завести десять Фетисток, но где нет единственной некрасивой Полины Виардо.

И он тронулся — 21 июля 1856 г. на пароходе в Штеттин, как некогда, в молодости выезжал в дальние края учиться. Тогда боялся матери, тайком играл на пароходе и чуть не погиб в пожаре. Теперь мать давно в могиле. Пожара не случилось, в штос он играть мог бы, да не хотелось — зато поездка вся была азартной игрой. Он ставил крупно, на Виардо и на все будущее свое...

Из Штеттина во Францию, снова осень в Куртавенеле. Снова Виардо. Замок времен Франциска, парк, милые пруды, каналы, тополя, дубы и вязы, леса, поля, где стреляли они с Луи Виардо куропаток. Будто бы все прежнее, но все и другое. Дорого пришлось платить этой осенью за дни былых куртавенельских радостей!

Шесть лет разлуки оказались не пустяк. Фетистка, Ольга Александровна — с его стороны. Была ли у женщины в расцвете сил, с натурой и темпераментом Виардо-Гарсиа вся душа прикована к старому, бесцветному мужу, охотнику за жаворонками и куропатками? Могла- и она так уж отдаться загадочному русскому другу, шесть лет безвыездно прожившему в Скифии, не столь много ей и писавшему, имевшему связь, чуть не женившемуся? Надо быть справедливым: Виардо не бралась за роль Пенелопы. Но вот теперь, после шести лет отсутствия, этот туманный, мечтательный друг появляется... Началось что-то новое.

Нет сомнения, что вернувшись, он увидел такое, о чем издали, может быть, и догадывался, но не знал точно. А теперь вложил персты. Молва называла его соперником известного художника Арии Шеффера, близкого человека к Полине — он писал и ее портрет.

Тут и оказалось, что пока жил Тургенев в Спасском, блистал в Петербурге, Полина представлялась ему петраркической мечтой, смутно вздыхательной, к которой жизненно не так уж он и стремился. Теперь, увидев, что его дело проиграно, испытал все, что полагается. В страстности, умении страдать, ненавидеть, оскорблять или впадать в болезненный восторг проявил даже неожиданную силу.

Как раз той же осенью Фет находился во Франции. Смесь замечательного поэта с грубоватым помещиком, поклонника Шопенгауэра с провинциальным офицером, Фет явился в куртавенель на зов Тургенева, но не особенно удачно. Тургенев что-то перепутал.

В расстройстве чувств забыл — и вышло так, что в день приезда Фета он надолго отправился с Луи Виардо стрелять куропаток. Лошадей в Розье не выслали, Фета подвез случайный фермер. В замке удовольствие приема выпало самой Полине. Она повела гостя на прогулку. Охотников встретили только под вечер, выйдя в поле — и как раз в Куртавенеле в эти дни были гости, так что и поместить приезжего оказалось негде. Все-таки, он провел здесь несколько дней.

Некоею своей аляповатостью, видом армейского офицера *endimanché*, несмешными анекдотами на плохом французском языке, кольцами на руках, произвел он впечатление неприятное. С Тургеневым иногда запирался и спорил. Кричали так, что Виардо казалось — не убьют ли друг друга эти два скифа, шумевших на своем загадочном наречии. Но

быть может Фет — в другом смысле — попал и вовремя. Все-таки это свой человек, приятель, сосед по имению и художеству.

Тургенев многое ему рассказал — горькие и тяжелые вещи о себе и Полине. Сам он себя ненавидел: тогда лишь блаженствовал, когда женщина каблуком наступит ему на шею и вдавит лицо в грязь. А в одну горькую и больную минуту выкрикнул («заламывая руки над головою и шагая по комнате»):

— Боже мой, какое счастье для женщины быть безобразной!

Фет возвратился в Париж, но все запомнил. Перебрался осенью и Тургенев — на rue de Rivoli, (а с января нанял квартиру 11, rue de l'Arkade). Много стонов мог-бы записать Фет за эту зиму, едва ли не труднейшую для Тургенева. Точно-бы все тут соединилось против него, начиная с климата: холода разразились беспощадные.

Случалось в рабочих кварталах, что ночью дети замерзали в колыбелях. Отопление и в порядочных квартирах было ужасное. Тургенев жестоко мерз. Приходилось сидеть за письменным столом в нескольких шинелях. Из-за холодов обострились его недомогания — открылись тяжелые боли в нижней части живота. Не мог не вспомниться отец, Сергей Николаевич, рано погибший от каменной болезни. Известна мнительность Тургенева. В болезнях все казалось ему наихудшим. Толстой, находившийся тогда тоже в Париже, писал о нем Боткину: «Страдает морально так, как может страдать человек с его воображением».

Тургенева лечили, прижигали, мучили... Ему предстояла еще, несмотря на мрачные мысли, долгая жизнь. Но вспоминая о его мученическом конце, более понимаешь и подозрительность: будто острее других чувствовал он в себе страшного врага.

С Виардо ничего не налаживалось. С дочерью тоже нелегко. Поля давно превратилась во французскую Полину, так забыла все русское, даже язык, что не могла ответить отцу, как по-русски «вода», «хлеб» — зато отлично декламировала Мольера. Ей шел пятнадцатый год. С Полиною Виардо она не ужилась, да может быть, теперь и самому Тургеневу не очень-то хотелось, чтобы она у ней оставалась. Он взял дочери гувернантку, английскую даму Иннис. И втроем поселились они на rue de l'Arkade.

Больной, раздираемый любовными страданиями отец. Подросток-дочь, выросшая в чужой стране, в чужой семье полусироткой, полу — из милости, характером не из удобных, отца совершенно не знавшая и близости к нему не чувствовавшая, да английская гувернантка — невеселое сообщество.

На душе у Тургенева мрачно. Все не нравится, все не по нем. Не нравится он сам себе, не нравится писание. В настроении, не столь от гоголевского далеком, уничтожает он свои рукописи. «Таланта с особенной физиономией и целостностью у меня нет»... значит и пусть все насмарку. «Были поэтические струнки, да они прозвучали и отзвучали — повторяться не хочется — в отставку!»

Зима 56-57 г. г., редкая у Тургенева, ничего литературе не дала. Не жизнь была, а прозябание. И то, что не писал, что пал духом и потерял (временно) веру в свое дарование, еще больше угнетало.

И Париж, и парижская жизнь, и литература — все не по нем, все не так. «Я замечаю одно обстоятельство: я ни одного француза не полюбил в течение этой зимы, ни с одним симпатически не сблизился». «Французская фраза мне так же противна, как и вам — и никогда Париж не казался мне столь прозаически-плоским». «Милый Яков Петрович, вы пеняете на меня за то, что я не пишу, а я именно потому не пишу ни к вам, ни к друзьям вообще, что ничего веселого сказать не могу, а жаловаться и вздыхать не стоит. Мне всячески скверно, и физически, и нравственно; но в сторону это! Надеюсь, что мне лучше будет через месяц, т. е. когда я выеду из Парижа. Солон он мне пришелся, Бог с ним!». «Причина этого настроения вам известна: я об ней распространяться не стану. Она существует в полной силе — но так как я через три недели с небольшим покидаю Париж, то это придает мне несколько бодрости».

Тургенев поступил разумно — из Парижа весной уехал. Побывал в Лондоне, а летом попал в немецкий городок Зинциг, близ Рейна, недалеко от Бонна. В Зинциге пил воды, провел месяц. Хотя зимой казалось ему, что он больше ничего не напишет, но как раз тут, в Германии и родилась «Ася». Старый немецкий городок, липы, виноградные усики, луна, петух на готической колокольне, белокурые девушки, гуляющие по вечерам, одиночество, Рейн — все это очень тургеневское, и вероятно очень его окрыляло. «Ася» вполне удалась. Повесть прославлена — действительно налита поэзией. Может быть, несколько слишком «поэтична» (руины, закаты, луна, виноградники и т. т. п.). Но в ней есть и черта очень странная. Во всю прозрачность, остроту «поэтических» чувств введен резкий «мотивчик»: рассказчик приехал в старый городок потому, что искал уединения: «я только что был поражен в сердце одной молодой вдовой». Эта вдова «сперва даже поощряла меня, а потом жестко меня уязвила, пожертвовав мною одному краснощекому баварскому лейтенанту». Вдова упорно проходит через всю «Асю», служит центром раздражения и насмешки, претерпевает явную авторскую нелюбовь («не без некоторого напряжения мечтая о коварной вдове», «в течение вечера ни разу не вспомнил о моей жестокой красавице», и т. д.). Повесть построена так, что чувство к вдове вытесняется — ощущением поэзии места, тихой простой жизни, образом самой Аси. Как будто надо отделаться от тяжелого и дурного — это и достигается в мирной, старомодной стране. Будто и горькая радость есть в том, чтобы вдову опошлить, принизить («краснощекий лейтенант...»).

Не так просто дается смирение. Не одна поэзия старой Германии в Тургенева вливалась. Острые. Неизжитые страсти рождали карикатуру. (На подлинник умышленно не походившую. Но тем язвительнее укол).

Он провел в Зальциге весь июль. Графине Ламберт так писал: «Я дурно себя чувствую и должен отсюда ехать, куда — не знаю сам». Вскоре попал в Булонь, и продолжает то же письмо: «Да, графиня, я решил воротиться, и воротиться надолго. Довольно я скитался и вел цыганскую жизнь».

Виардо же тем временем родила сына Поля. Тургенев по этому случаю написал ей письмо неестественно восторженное. «Hurrah! Ура! Lebehoch! Vivat! Evviva! Zito!»... и даже восклицание по старокельнски, по арабски. Все оно вообще болезненно, в настоящей радости так не пишут. Боль, которую хочется заглушить театральным восторгом, в нем не скрыта.

Г-жа Виардо родила сына 20 июня 1857 г. Фет посетил Тургенева, только что приехавшего, в сентябре 1856-го — ровно девять месяцев тому назад... Дальше все тайна. Поль мог быть сыном Тургенева, пока тот не узнал о Шеффере. Мог быть и не его сыном. Во всяком случае, тут для Тургенева была драма.

* * *

В августе он попал в Булонь, на морские купанья. Затем — Париж. Далее все тот же ветер занес его на горестное пепелище — в Куртавенель. Отсюда пишет он Некрасову: «Ты видишь, что я здесь, т. е. что я сделал именно ту глупость, от которой ты предостерегал меня». Некрасов был практический и крепкий человек — знал, как в таких случаях надо действовать. Знал бы и покойный Сергей Николаевич Тургенев. Иван же Сергеевич, приехав туда, куда не надо, мог только вздыхать: «Так жить нельзя. Полно сидеть на краешке чужого гнезда. Своего нет, ну и не надо никакого».

Тем не менее после тоски Куртавенеля и ему удалось сделать правильный шаг: вновь двинулся он в путешествие, выбрал Италию, Рим. Лаврецкий, в сходном положении, поступил так же. («...Он поехал не в Россию, а в Италию». «Скрываясь в небольшом итальянском городке, Лаврецкий еще долго не мог заставить себя не следить за женой»).

Тургенев в Италии уже бывал — давно, семнадцать лет назад, студентом. Тогда жилось легко, светло. Все — впереди. Теперь он — человек с рано поседевшими кудрями, нездоровый, упорно думающий о смерти, одинокий, с разгромленным сердцем. Но Италия осталась прежней и не обманула.

Боткин, с которым он отправился, не мог заменить Станкевича. Но оказался хорошим товарищем. Они вместе подъезжали к Риму на лошадях, в дилижансе, и первый вид на него открылся с Monte Mario, а вступили чрез Porta del Popolo. Тургенев остановился в Hôtel de l'Angleterre, на via Bocca di Leone — там они и обедали с Боткиным.

Началась жизнь, какую не мог не вести Тургенев, как бы себя ни чувствовал: музеи, галереи, катакомбы, знакомство с художниками, Александр Иванов, заканчивавший свою знаменитую картину, поездки в Альбано, дикое Rocca di Papa, Фраскати, где вечерняя заря заливала их «нестерпимо пышным заревом, пылающим потоком кровавого золота. Вилла д'Эсте, книги, классики...

Осень и Рим шли к его настроению. Некогда этот Рим наполнял красотой молодую его душу. Теперь помогал изживать горе. Виардо ему не писала — не отвечала на письма. Но он переписывался с друзьями — Анненковым, графиней Ламберт. «Природа здешняя очаровательно величава — и нежна, и женственна в то же время. Я влюблен в вечно-зеленые дубы, зончатые пинии и отдаленные бледно-голубые горы. Увы! я могу только сочувствовать красоте жизни — жить самому мне уже нельзя. Темный покров упал на меня и обвил меня; не стряхнуть мне его с плеч долой». — Как так стряхнуть, если сидя на Пинчио, увидав проезжающую в коляске даму — вдруг бросает он собеседника и как сумасшедший кидается догонять экипаж: показалось, что это Полина.

Но он сам понимает, что нечто надо закончить: «В человеческой жизни», пишет графине Ламберт, «есть мгновения перелома, мгновения, в которые прошедшее умирает и зарождается новое. Горе тому, кто не умеет их чувствовать — и либо придерживается мертвого прошедшего, либо до времени хочет вызвать к жизни то, что еще не созрело».

Риму и надлежало перевести Тургенева с одного пути на другой. Нелегко это давалось. Рим пустил в ход все свои прельщения. Осень была чудесна. Все синее неба, вся роскошь Испанской лестницы с красноватыми башнями Trinita dei Monti, величие Ватикана, задумчивость базилик, тишина Кампаньи, фонтаны, Сивиллы, таинственная прахообразность земли — все говорило об одном, в одном растворяло сердце. У Тургенева были глаза, чтобы видеть. Были уши, чтобы слышать. «Рим удивительный город: до некоторой степени он может все заменить: общество, счастье, даже любовь». Вечность входила в него, меняла, лечила. Делалось это медленно. Он и сам не все видел. Иногда болезнь неприятно раздражала и томила. Темные мысли — о судьбе, смерти, бренности именно с этого времени крепче в нем гнездятся. И все-таки Рим врачевал.

Это видно и в самом его творчестве. Очень важно, и очень хорошо, что он в Риме задумал (и частью написал) «Дворянское гнездо». В этих страданиях создал тишайший и христианнейший образ Лизы. Той зимой ему приоткрылся просвет, могший дать утешение: путь религии. Для себя он, к несчастью, его не принял. Но с любимой героинею по нем шел, значит как-то, в чужой жизни, художнически, но изжил. Изживал в «Дворянском гнезде» и другое. Вся история Лаврецкого и жены, изменившей ему с белокурым смазливый мальчиком лет двадцати трех — еще неостывшее личное. По напряжению, резкости, эти страницы «Асе» не уступают. «Изменница» и соперник тоже унижены (там «краснощекий баварский лейтенант», здесь ничтожный Эрнест). Лаврецкий, узнав об измене Варвары Павловны (дело происходит в Париже), взял карету и велел везти себя за город. И вот ночь, которую проводил он в окрестностях, останавливаясь и всплескивая руками, то безумствуя, то странно смеясь, и этот «дрянной загородный трактир», куда в отчаянии зашел, взял там комнату, сел у окна, и судорожно зевая, восстанавливая воображением весь свой позор просидел до утра... это еще все не смирение. Но эпизод потонул — в другом. Общий тон — Лиза, тишина, благообразная няня, милая тетушка Марфа Тимофеевна, зеленое безмолвие деревенской России, последняя заря дворянского быта и (за сценой) медленный монастырский перезвон.

«Дворянское гнездо» чудесно проникнуто старой Россией. Приближались шестидесятые годы. Пора было простаться с ней — Тургенев распрощался щедро, всеми

средствами таланте зрелого, в самом цветении (хотя прошлой зимой, в Париже ему и казалось, что все кончено). Для себя лично он прощался в романе с «тревожной» полосой жизни, когда есть надежды. Он отходил от них, пытался отходить от «счастья» и как бы обрекал себя на бесприютную художественную жизнь. Рим и Италия помогали ему в этом.

Но не один Рим, и не одна Италия. «Дворянское гнездо» слагалось небыстро. В Италии родилось основное зерно его. Здесь больше думал Тургенев о нем, чем писал. Писание шло иначе.

Весной 1858 г. он тронулся из Рима. Остановился во Флоренции, где успевал подолгу спорить с Аполлоном Григорьевым, остановился в Вене: там лечил его профессор Зигмунд, прописавший воды. В Дрездене встретился с Анненковым, в Лепциге слушал Виардо и писал в Париж дочери, что из-за этого задерживается. Побывал затем и в Париже, в Лондоне. Летом же оказался у себя в Спасском.

На этот раз довольно близко подошел к нему Фет, у них получился союз поэтично-охотничий. Фет читал свои стихи, переводы. Тургенев следил по подлиннику, критиковал, одобрял, смотря по качеству работы. Затем закатывались они на охоту, как истинные бары и художники. Вперед отправлялась тройка с охотником Афанасием, поваренком и всяческой снедью. На другой день выезжал тарантас, тоже тройкой — Тургенев с Фетом. Ехали вдаль. Например. Днем из Спасского, вечером в городишке Болхове ночлег, на таком постоялом дворе с иконами в горнице, что хозяйка не позволяет тургеневской Бубульке и в комнату войти. Приходится долго доказывать, убеждать, что это особенная собака, деликатная, не «пес», никакой нечистоты от нея быть не может. Следующий день опять все едут, ночуют у знакомых помещиков — уже в другой губернии, и на третий день забираются в глушь Полесья, где тетерева гуляют по вырубкам как куры в курятнике — там начинают поэты свои гомерические охоты. Наперебой палат из шомпольных ружей, у Тургенева заряды приготовлены заранее (!) и это огорчает Фета, которому больше приходится возиться с насыпанием в ствол пороха, дробы. Настрелянных тетеревов на привале потрошат верные слуги, обжаривают, набивают можжевельником — лишь в таком виде можно довести их домой.

Печет солнце, льют дожди, охотники укрываются под березами, но все же мокнут, потом сохнут, вновь стреляют, соперничают в ловкости стрельбы, усталые заваливаются спать на сеновалах, утром умываются ледяною водой, днем лакомятся дичиной, удивительной земляникой в молоке, которой Фет пожирает целые миски, раскрывая рот «галчатообразно»... Россия дышит на них дыханием лесов, полей. Всей страшной силой необъятности своей.

В жизни этой, между охотами и чтением стихов, среди полей Новоселок или в парке Спасского, то в чувствах горестных, то в относительном успокоении дозревает «Дворянское гнездо».

Едет Тургенев с Фетом, например, в дальнее имение Тапки. Старый слуга, стерегущий запертый дом, отворяет его. Они ночуют, среди безмолвия, глубокой тишины,

зелени и меланхолии запущенного места: Лаврецкий приехал к себе в Лаврики, в таком же настроении «отказа» и смирения. (Именно тут он и будет потом удить рыбу с Лизой).

В июле Тургенев уже работает над романом, рождающимся под двойным благословением — Италии и деревенской России, рождаемым под крестом горя, одиночества, неудачной любви. Дорого обошлась поэту слава романа...

Но если бы в то время посмотреть на Тургенева со стороны, не всякий раз и угадал бы, что с ним: он бывал временами и очень весел, по детски шумлив. Например, занимаются они с Фетом тем, что наперегонки ходят вокруг клумбы — Тургенев горд, что идет быстрее «несчастливого толстяка с кавалерийскою походкой» — на десятом кругу обгоняет Фета на пол клумбы. Или: Фет читает ему свой перевод из Шекспира. Тургенев следит по подлиннику. В одном месте Фет переводит (говоря о сердце): «о, разорвись!» Тургеневу не нравится. «Тогда», говорит Фет, «как заяц, с криком прыгающий над головами налетевших борзых, я рискнул воскликнуть: «я лопну!»

Тургенев, прямо с дивана, разразившись хохотом, бросается на пол. Кричит и ползает как ребенок от восторга.

Дело происходит у Фета в имении — на крик вбегают дамы, не менее, вероятно, изумленные, чем некогда в Париже Наталия Герцен и Тучкова при театральных упражнениях Тургенева. А рядом с этим и под всем этим Лаврецкий в последний раз приезжает в дом Лизы Калитиной, где быстро отцвел его роман. Сидя на скамейке. Под старыми липами, смотрит на беготню, шум, радость молодежи — Лаврецкий, вкусивший уже (ему сорок лет!) смирения зрелости, сознания, что жизни со счастьем для него быть не может.

В это время с особенной остротой переживал, пережевывал Тургенев дела своего сердца: как боли физические, то обострялась, то ослабевала тоска. «Дворянское гнездо» — первое, временное ее преодоление. (Как раз летом 1858 г. скончался Ари Шеффер, друг Полины. Тургенев нашел в себе силы тепло и задумчиво написать ей о его смерти).

Осенью он повез роман в столицу. Успех, на этот раз, оказался решающим. Толстой еще не написал «Войны и мира». Достоевский находился в ссылке.

Соперников Тургеневу в литературе не было.

ШЕСТИДЕСЯТЫЕ ГОДЫ.

...Тургенева всегда раздражала неустроенность и «отсталость» России — деспотическое правительство, крепостное право. С ранних лет стал он западником. Преклонился перед более культурным государственным устройством, перед большей свободой общества. Настолько преклонился, что иной раз недалеко оказывался от заурядного либерала. Величайшей глубины России — ее религии — почти не чувствовал. Вернее, разумом не признавал: некий «Вестник Европы» заслонял ему ее (а сердце, по временам, давало удивительные образы святой Руси). Он Гоголя мало знал лично.

Литературно ценил его высоко, но при близком знакомстве конечно разошелся бы. Славянофилов всегда не любил. Но с Аксаковым-патриархом находился в добрых отношениях — правда, больше из-за охоты. Собирался сблизиться с Константином Аксаковым в пятидесятых годах, да не вышло. Вера Сергеевна Аксакова записала о Тургеневе, навещавшем их в Абрамцеве, тяжелые вещи: хо казался ей не духовным, лишь слегка склонным к «душевности». Человеком ощущений, утопающим в гастрономии. По его взгляду. Он и искусство чувствовал физически — вроде вкусного блюда. Духовное же шло мимо.

В семье Аксаковых была теплота, свет, связанные с их глубоко-христианским складом. Тургенев несколько иной — прохладней, это верно. Сойтись они не могли. Но Вера Сергеевна не права, отрицая в нем запредельный порыв. Только мистика его не православна. Магическое, таинственно-колдовское наиболее его влекло.

Из-за «разумного» своего западничества разошелся Тургенев со многими писателями, крупнейшими: Толстым, Достоевским, Тютчевым, Фетом, даже с Герценом (не считая славянофилов). Тут оказался упорен, последователен: как западная Виардо прошла через всю его сердечную жизнь, так тепловатый либерализм не оставил его ума. Он признавал очень правильные и разумные вещи: гуманность, просвещение, свободу, «Дельных» и «честных» людей, «надо работать», все потугинские благонамеренные рассуждения, вплоть до пользы железных дорог и необходимости реформ. Но не этим истинно украсил.

Время шло. Выигрывала ставка Тургенева: наступили «шестидесятые годы», сменялось царствование императора Николая более мягким — Александра II-го. Готовилось освобождение крестьян. Судебные реформы. Стали появляться и имели успех люди, возросшие на французской революции и европейском позитивизме. «Дворянское гнездо» уходило. Нельзя было его задерживать. Жизнь надвигалась, двуликая и трагическая. Одной рукой руша рабство, давая справедливый суд, отменяя шпицрутены — другой внося яд мелких идей, создавая ничтожество, улицу, шумно лезшую в литературу. Шестидесятые годы! Молодость наших отцов. «время великих реформ» — и оплевания Пушкина, непонимания Толстого, Фета,

Достоевского, время торжествующего нигилизма, Базаровых, «Бесов», Нечаева.

Странно отозвались шестидесятые годы на судьбе Тургенева. Ему хотелось отвечать времени. Толстой и Достоевский шли наперекор, и одолели. Тургенев более поддавался, да как раз этих времен и ждал, правда, в более мягком облике (как мы революцию). Дождался его же и задушивших. Частью и талант свой направил на трудные, художественно невыгодные пути. Получил здесь шумную славу и великие поношения.

Первый его «общественный» роман — «Накануне». Вещь с большими поэтическими достоинствами и некоей зажигабельностью. «Тургеневская» девушка выходит, наконец, из «гнезда», бросает дом, родителей и увлеченная борцом за освобождение родины, отдается подвигу.

Тургенев попал здесь в точку: не одна провинциальная девица, сходясь с каким-нибудь

нигилистом, воображала себя Еленой. Роман вызвал одобрение одной части публики (молодежь, интеллигенция), недовольство другой. Из светских друзей Тургенева графиня Ламберт так порицала произведение, что автор собирался рвать рукопись.

Главные огорчения ждали его, однако, не справа от графинь, а слева, от критики. Тургенев «природно» не нравился новой породе в литературе — маленьким безталантным Белинским. Удивительное дело: они появились в том самом «Современнике», который Тургенев и создавал. За двенадцать лет «Современник» занял в литературе место крупное. Его редактором был Некрасов — замечательный, высокоталантливый плебей из дворян, Некрасов острый и умный, оборотистый и темный, пронзительный и двусмысленный, почти гениальный в народной сути своей, порочный, но и рыдательный, проживший нечистую жизнь, глубоко страдавший, ловивший момент и невыигравший, поэт, журналист, делец, человек, которого первые люди времени называли «мерзавцем» — и автор «Власа», «Рыцаря на час»... Нет в русской литературе фигуры, более дающей облик славы и падения. Возношения и презрения.

Тургенев долго был с ним приятелем, на «ты», писал ему вещи интимные. Шестидесятые годы развели их. Развело «Накануне» — будто бы внешне, но истинная причина глубже. Некрасов вполне объединился с «семинарами», Тургенев навсегда остался художником-бариним. Тургенев любил Фета, выдвигал Тютчева — тончайшие блюда поэзии. От некрасовских стихов отзывало для него тиной, «как от леща или карпа». В зрелом развитии эти два человека не могли быть вместе.

И не зря пришло «внешнее» (то, что «Накануне» со всею своею зажигательностью оказалось не в «Современнике», где писали Чернышевский и Добролюбов, а в «Русском Вестнике» у Каткова). Новых людей, «разночинцев», весьма лево устремленных, не мог не раздражать Тургенев своею барственностью, громадной просвещенностью, избалованностью, красноречием, французским языком салонов XVIII века, изяществом одежды, гастрономией, легким пришепетыванием — может быть, небрежной снисходительностью иногда, тоном «сверху вниз». А его задевало плебейство их, невоспитанность, грязные ногти, самоуверенность, иногда прямо наглость. (Добролюбов — один из наиболее порядочных среди них — мог позволить себе фразу: «Иван Сергеевич, мне скучно говорить с вами, и перестанем говорить» — встал и перешел на другую сторону комнаты).

«Накануне» появилось в январской книжке «Русского вестника» 1860 г. — и тотчас начал с обстрела в «Современнике». В мартовском номере статья Добролюбова, где утверждалось, что Тургеневу не хватает таланта для такой темы и вообще нет «ясного понимания вещей». В апрельской — насмешки над только что появившеюся «Первою любовью». (Чернышевский-же упрекал Тургенева в том, что в угоду богатым и влиятельным друзьям он окаррикатурил Бакунина в «Рудине»).

Нравы юмористики того времени не высоки. В «Искре» Курочкин писал: «Людская пошлость заявляет, что в следующем году она будет угощать почтеннейшую публику — Фетом, балетом, паштетом и вновь — Бертами, Минами, Фринами». «Свисток» (юмористический отдел «Современника») глумился над жизнью Тургенева. Первый русский писатель переживал самые черные времена сердца, а некрасовские «писатели»

смеялись над тем, что он «следует в хвосте странствующей певицы» и «устраивает ей овации на подмостках провинциальных театров за границей». К концу года они так осмелели, что в объявлении о подписке на «Современник» 1861 г. заявили, что отказываются от сотрудничества автора «Записок Охотника», ибо «расходятся с ним в убеждениях» (Некрасов только что заманивал его к себе, предлагал большие деньги за роман, и т. п.). И это лишь начало. Тургеневу предстояло пройти сквозь строй: в 61 году он окончил «Отцов и детей». На следующий год роман появился в том же «Русском Вестнике».

В тургеневской литературной жизни ничего не было равного «Отцам и детям» по шуму. «Тихий» Тургенев оказался вполне на базаре. Причины тому ясны. В романе клубилась, кипела современность. Отойдя от недр своих, питавших в нем поэта, Тургенев попробовал изобразить «героя нашего времени» внешне. Лермонтов не то чтобы писал Печорина, Печорин сам всплывал из него. Тургенев дал Базарова «со стороны», точный, верный и умный портрет. Но сердце его не могло быть с первым в нашей литературе большевиком. Не было и великого гнева Достоевского. Тургеневу просто хотелось быть справедливым и наблюдательным. Он отнесся к Базарову как ученый — глубины Тургенева этот Базаров, нигилист и отрицатель, никак не задевал.

Роман получился замечательный. Но без обаяния. В нем новый человек показан ярко (хотя и смягченно)... и ни тепло от него, ни холодно. Вернее — прохладно, хотя Базаров умирает и очень трогательно, самая смерть его волновала автора.

Поднялись вопли. Молодежь обиделась. Разные гейдельбергские студенты собирали собрания, автора судили, выносили резолюции, писали ругательные письма. «Современник» был в восторге, что можно лишний раз лягнуть. Некий Антонович «тиснул» статью «Асмодей нашего времени» — с бранью на Тургенева.

Автор страдал, пытался что-то объяснить, но ничего, конечно, изменить не мог: не подходил он к людям, наполнявшим своим шумом, нигилизмами, «эмансипациями» преддверие освобождения крестьян. В некотором роде он их и взрачивал. Теперь грызли его они же. Они же и отвлекали от важного, женственного в литературе — истинно-тургеневской стихии.

* * *

Елизавета Георгиевна Ламберт (дочь графа Канкрин, в замужестве за блестящим адъютантом молодого наследника — гр. Иосифом Ламберт) — появилась в жизни Тургенева к концу пятидесятых годов, в самое трудное для него время.

Известно о ней мало. Виардо много замените ее, да и то виардовских писем не сохранилось. Елизавету Георгиевну можно почувствовать лишь сквозь письма Тургенева (к ней). Это дает ее облику черту летейской тени. Ее не видно и не слышно. Она за сценой. Говорит всегда Тургенев. То, что говорит, и как говорит — косвенно, нежно и туманно изображает ее самое.

Была ли она красива? Сомневаюсь. Была ли счастливой, довольной? Бесспорно нет. Натура благородная и строгая, чистая и незадачливая, явилась она для Тургенева «утешительницей», изящным другом. Ей да верному своему Анненкову, писал он самые задушевные о себе вещи еще из Италии, в 57-58 г. г. В Петербурге (тогда же, и в шестидесятых годах), часто бывал у нее на Фурштадской — целыми вечерами сидел в будуаре и беседовали они — об этих свиданиях не раз вспоминает он почти с нежностью. Нечто от бледного, дорогого дагерротипа есть в ощущении от графини Ламберт — всегда с присутствием грусти. Женщина с какими-то своими сердечными ранами. Когда болели раны Тургенева, он в ней находил сотоварища. Одинаково томившиеся, они хорошо понимали друг друга. Решали вопрос о жизни «без счастья» — вечный и безнадежный вопрос! — но Тургеневу приходилось еще труднее: у графини, по крайней мере, была вера (не единственный ли вблизи него верующий человек, со сложную внутренней жизнью?). Но и ее положение не совсем легко. Ее дружественность к нему готова была, временами, прорваться и в большее: но не встречала ответа.

Близость душевная была довольно большой. «Помните, как вы плакали однажды? Я напоминаю это вовсе не для того, чтобы потрунить над вами, что ли, нет, сохрани Бог. Не слезы ваши меня трогали, а то что вы могли и не стыдились плакать» — светская женщина, очень чинная, при нем, однако, плакала. Это писано в 1859 году, когда сам он, отмучившись первыми, горькими страданиями из-за Виардо, все-таки никак смеяться не мог.

Он живет то в Спасском, то во Франции, пишет из Куртавенеля, из «грязного городишки Виши», из Москвы, из самого Петербурга. Душевно как-то «мотается», пристанища у него нет, тонкие руки графини Ламберт для него некоторое успокоение (Тургенев любил красивые женские руки). Облегчало и то, что он видел участие к себе прекрасной, изящной женщины (но не той, которая нужна!).

«С радостью думаю о вечерах, которые буду проводить нынешнею зимою в вашей милой комнате. Посмотрите, как мы будем хорошо вести себя, тихо, спокойно — как дети на Страстной неделе. За себя я отвечаю».

Значит, не всегда было «тихо и спокойно»? Он как будто сам чувствует смелость фразы и добавляет: «я хотел только сказать, что вы моложе меня».

Это письмо как раз из Куртавенеля. Там он созерцал гроб своего прошлого. «Не чувство во мне умерло, нет, но возможность его осуществления. Я гляжу на свое счастье, как я гляжу на свою молодость, на молодость и счастье другого; я здесь, а все это там; и между этим здесь и этим там — бездна, которую не наполнит ничто и никогда в целую вечность. Остается держаться пока на волнах жизни и думать о пристани, да отыскав товарища дорогого и милого, как вы, товарища по чувствам, по мыслям и, главное — по положению (мы оба с вами уже немного ждем для себя), крепко держать его руку и плыть вместе, пока...»

Вот что в нем было, когда задумывалось «Накануне», когда близились шестидесятые годы, освобождение крестьян, осуществление его же собственных надежд и когда начинался весь шум его романов с «общественным» содержанием.

В октябре того же 59 г. получил он в Спасском от графини письмо более нежное, чем обычно. («Какое странное, милое, горячее и печальное письмо — точно те короткие, нешумные летние грозы, после которых все в природе еще более томится и млеет»). Здесь же — первый упрек (вернее — мягкое указание), что он начинает с нею скучать. Тургенев это отвергает. Нет, не скучает нисколько. И не может так быть, ибо есть на свете только два существа, которые он любит больше, чем ее: «одно потому, что она моя дочь, другое потому... Вы знаете, почему».

Переписка оживляется, разрастается. Вот остановился Тургенев в Москве, у приятеля своего Маслова, в Удельной Конторе на Пречистенском бульваре (чудесный особняк!). Морозы, ухабы, милый московский иней на деревьях, розовое солнце... Он захворал, у него горло простужено. Маслов почтительно за ним ухаживает. Конечно, Тургенев мнителен и избалован — так ясно чувствуешь все эти пледы, в которые он кутается, туфли, микстуры, все его страхи, томные жалобы, возню с докторами. Видны и завсегдатаи: Фет, Борисов, Николай Толстой. В промежутках успевает он познакомиться с двумя-тремя дамами («два, три интересных женских существа»). Держит корректуру «Накануне» — это январь 1860 года. «Я вас не забывал все время — и все-таки не писал вам. Примиряйте, как умеее, это противоречие». В сущности, графиня не могла жаловаться. Он и с Виардо иногда так поступал: помнил, но не писал. Правда, за это и поплатился.

Из Москвы вернулся он в Петербург, и все кашляет, все хандрит, возится с докторами, не может приехать к Ламберт — не выпускают на улицу; переписывается с ней записочками — не без элегии и кокетливости. Она рассказывает ему о своих снах, называет балованным ребенком... а он успел уже познакомиться «с одной молодой милой женщиной восемнадцати лет, русской, рожденной в Италии, которая плохо знает по-русски» — и сейчас же предложил ей читать вместе Пушкина. (Очень вообще любил читать вслух дамам).

Но в Петербурге долго не засиживается — опять Запад — Париж, Соден, Висбаден. Виардо все время в тени, за сценой, все время больное место. Тургенев совсем не на якоре, его покачивает на зыби, — один ветер тянет туда, другой сюда, ветры несильные и никак его не задевающие. Но главное направление (лишь дружеское), все же на графиню Ламберт. (От скуки, однако, болтает часами в Содене с соседкой. Провожая «одну даму» в Швальбах, заехал в Висбаден. Дама эта — писательница Марко-Вовчок. С нею он тоже, конечно, не мало разговаривал и читал).

Так и следишь, живешь двумя ушедшими жизнями. Одна в другой отражается. Вот опять зима, начинается Париж, всегда для Тургенева тяжелый, незадачливый. Растрavляется сердце, вновь близок источник страданий, вновь горечь, глубокая грусть и серьезность. «Да, сверх того, на днях мое сердце умерло. Сообщаю вам этот факт. Как его назвать, не знаю. Вы понимаете, что я хочу сказать. Прошедшее отделилось от меня окончательно, но расставшись с ним я увидел, что у меня ничего не осталось, что вся моя жизнь отделилась с ним. Тяжело мне было, но я скоро окаменел. И я чувствую теперь, что так жить еще можно. Вот если бы снова возродилась малейшая надежда возврата, она потрясла бы меня до основания» (декабрь 1860).

Приближалось освобождение крестьян (манифест 19 февраля 1861 г.) — то, из-за чего давал Тургенев некогда «аннибалову клятву». Под звук колоколов, возвещавших освобождение, писал он: «Несомненно и ясно на земле только несчастье». К этому надо прибавить, что только что выпустил «Первую любовь» — уж действительно «для себя», не для публики: во время вспомнил историю юношеской своей, высокой и неразделенной любви.

Графиня Ламберт собралась в Тихвинский монастырь под Калугою. Жила там некоторое время, занесенная снегом, в тишине служб, размеренною, чистой монастырской жизнью. Эту жизнь Тургенев не совсем понимал. Она казалась ему «холодной, печальной», хотя и находил он ее «приятной». Как человек глубоко светский, представлял себе монашество могилой, (не знал, что в духовной жизни есть именно радость). Но успокоение, так самому ему нужное, все-таки чувствовал.

«Я уверен, что самый стук башмаков монахини, когда она идет по каменному полу коридора в церковь молиться, ей говорит что-то... И это что-то, если не убивает, не душит человеческое, нетерпеливое сердце, должно дать ему невыразимое спокойствие и даже живучесть».

Он был гораздо более одинок, чем графиня. Она, как и те скромные тихвинские монахини, знала, что кроме несомненности несчастья есть несомненность Истины.

* * *

Жизнь дочери Тургенева слагалась неестественно. Рожденная от «рабыни», девочка сразу оказалась не к месту. Рано оторвали ее от матери, родины. Дом Виардо не дал ласки. Отца она мало знала. Он ничего для нее не жалел, учил, воспитывал, нанимал гувернанток — все это считал «долгом»: так же, через несколько лет, выдал замуж. В сущности же она ему ни к чему. Все его заботы о ней внешне, ничем не согреты. А потому бесполезны.

Подрощи, Полина маленькая стала ревновать отца к Полине взрослой. Его это раздражало. Он писал ей ласковые письма, в которых не так много ласки, и нередко — упрек. Графине же Ламберт признался, что между ним и дочерью («хотя она и прекрасная девушка») мало общего. Они не любят ни музыки, ни поэзии, ни природы, ни собак. И он относится к ней, как к Инсарову: «я ее уважаю, а этого мало».

Дочь была в некотором смысле грехом Тургенева — и в этом грехе он держался безупречно... но сердца своего не дал. Оттенок кары лег на их отношения.

В мае 1861 г. гостил у Тургенева в Спасском Толстой. (Друг друга они не любили, но и влекло их друг к другу). Собрались в гости к Фету, незадолго пред тем купившему именье Степановку — там выстроил он новый дом и обзаводился хозяйством. Приехали в добром настроении. Отправились с хозяином в рощицу, лежали на опушке, много

разговаривали. Затем пили чай, ужинали — все, как полагается. Остались ночевать. Фету с женой пришлось даже потесниться: дом был невелик.

Утром вышли Тургенев с Толстым к чаю, в столовую... быть может встав с левой ноги (оба и вообще-то капризные). Уселись — Тургенев справа от хозяйки, Толстой слева. Бородатый, загорелый Фет с узкими глазками, полный посевов, забот о вывозе навоза, о каких-нибудь жеребятах — на противоположной стороне стола. Жена Фета спросила Тургенева о дочери. Он стал расхваливать ее гувернантку, г-жу Иннис, которая просила установить точную сумму, какую дочь может расходовать на благотворительность. Кроме того, она заставляет ее брать на дом белье бедняков, чинить и возвращать выштопанным.

Толстой сразу рассердился.

— И вы считаете это хорошим?

— Конечно, это сближает благотворительницу с насущной нуждой.

В Толстом именно в эту минуту, в свежесрубленной, пахшей сосною столовой Фета проснулось тяжелое упрямство, связанное с неуважением к собеседнику.

— А я считаю, что разряженная девушка, держащая на коленях грязные и зловонные лохмотья, играет неискреннюю, театральную сцену.

Тон его был невыносим. Любил Тургенев или нелюбил свою дочь — это его дело. Толстой же посмеялся над бедной Полиной, да и над отцом. Этого Тургенев не мог вынести.

Дальше все поразительно — для Тургенева, мягкого, светски-воспитанного почти непонятно. Будто в одно из редких мгновений прорвалась в нем материнская кровь (тяжелый костыль, которым чуть не убила Варвара Петровна дворецкого).

После возгласа:

— Я прошу вас об этом не говорить!

И ответа Толстого:

— Отчего же мне не говорить того, в чем я убежден! — Тургенев в полном бешенстве крикнул — не дворецкому, а будущему «великому писателю земли русской»:

— Так я вас заставлю молчать оскорблением!

Ноздри его раздувались, он схватил голову руками и «взволнованно зашагал в другую комнату». Через секунду вернулся и извинился пред хозяйкой за «безобразный поступок», прибавив, что глубоко в нем раскаивается.

Бедный Фет попал в переделку. Оба знаменитых гостя считались его друзьями. За минуту все было мирно, весело, майский ветерок похлопывал парусиной на террасе,

яровые лоснились за окном, грач ухабами летел против ветра... Вышли бы на воздух, посмотрели бы коров, телят. А теперь... слава Богу, что не зашло еще дальше!

Тургенев тотчас уехал. Толстого пришлось отравлять отдельно. Лошадей не было, экипажа тоже. Но это, конечно, мелочи. Их нетрудно преодолеть. Хуже получилось по существу. Два лучших русских писателя рассорились на семнадцать лет, обменялись оскорбительными письмами, дело чуть не дошло до дуэли...из-за чего? Бедная Поля встала между ними, разделила так: Тургенев по внешности оказался не прав, но внутренне его позиция гораздо лучше — он вскипел, сказал ненужное и извинился. Сам страдал из-за своей резкости. В положение праведника, не вызывающего сочувствия, попал Толстой, требовавший дуэли после извинения, вообще «удовлетворения» своим интересам — слава Богу, он его не получил.

Из Богуслава, где остановился на ночлег, выехав от Фета, посылал Толстой домой за ружейными пулями. Предлагал Тургеневу дуэль «на ружьях», чтобы она кончилась непременно как следует. Тургенев принял дуэль только на европейских условиях, т. е. на пистолетах. Тогда Толстой написал ему грубое письмо. В дневнике же записал о Тургеневе: «Он подлец совершенный, но я думаю, что со временем не выдержу и прощу его».

В то самое время, Когда Тургенев грыз себя за несдержанность, а Толстой восхищался своей добротой, некрасивая Поля Тургенева разрисовывала во Франции какие-нибудь благонамеренные кипсэки, помогала бедным, училась петь, подчинялась добродетельной г-же Иннис, ненавидела Виардо. Никак не могла она думать, что из-за нее в той России, которую она совсем забыла, отец так взволновался. Толстого она вовсе не знала. Ее гораздо более занимало то, пустят ли ее потанцевать на бал, или нет.

* * *

Тургенев отписал о ссоре графине Ламберт. Он признавал свою вину. Дело же в целом объяснял давней нелюбовью, отталкиванием от Толстого. Неизвестно, что отвечала графиня. Но их отношения вообще несколько менялись. Она сама переживала тяжелые потрясения: смерть единственного сына, смерть брата, собственные болезни. Раньше она являлась «утешительницей». Теперь ее самое надо было утешать и поддерживать — что Тургенев с дружеской добротой и делал. Но ей все казалось, что мало. Что он начинает с нею скучать, что ее печаль «стеной стала» между ними. Сама она замыкалась, уходила в религию. Он казался ей «преисполненным земной жизнью и преданным ей». Тургенев отвечал, что если не успел приникнуть к неземному, то земное все давно ушло от него. (По крайней мере, так ему казалось). «Я нахожусь в какой-то пустыне, туманной и тяжелой».

К неземному привыкнуть, как графиня, он и вообще не мог. Не был верующим и скорбел об этом, именно теперь, видя, с каким достоинством переносит свои беды графиня(в человеческом, однако, утешении тоже нуждавшаяся). К христианскому ее

смирению относился почти благоговейно. Но себя христианином не считал. Или, вернее, не называл. Христианскими же качествами души и высокими тяготениями обладал. «Имеющий веру имеет все, и ничего потерять не может, а кто ее не имеет, тот ничего не имеет» — это слова Тургенева. «Ничего не хотеть и не ждать для себя и глубоко сочувствовать другому — это и есть настоящая святость». Не видя последнего в себе, он чрезвычайно ценил его в графине. Это и ставило его в положение скромности.

Ему самому смирение было необходимо. Трудности шли отовсюду. Нападки за «Отцов и детей» превзошли все возможное. На Тургенева действовали они болезненно. Свою правоту он знал. Характером же достаточным не обладал, как-то подавался, падал духом. Будучи избалованным, слишком любил любовь и поклоненье. Пробовал возражать. Кажется, не всегда был достаточно тверд с молодежью. В общем же ему казалось, что он устарел, что новое поколение не признает его и ненавидит. В награду за труды, седина, годы, получал поношенья. Ему хотелось тишины, мира, света — и не хотелось России. В эти годы он сильно отходил от Родины.

А с другой стороны: прежнее, куртавенельское с Виардо ушло навсегда. Надо было свыкаться с иным. Здесь он, по-видимому, успел больше, чем в литературе. Та струйка смирения, что впервые открылась в год «Дворянского гнезда» через Лизу, ширилась — может быть, и не без влияния графини Ламберт. Разумеется, до того настроения, в котором писала она ему из Тихвинского монастыря, он не доходил. Но одно то, что мог написать: «Глядя на какое-нибудь прекрасное молодое лицо, я так же мало думаю при этом о себе, о возможных отношениях между этим лицом и мною, как будто бы я был современником Сезостриса» — уже говорит нечто. Много в нем менялось. Что-то он мог принять, что-то простить... Сердце растоплялось. Но Виардо еще вдали. Писем от нее нет. Ее самое он видит, но как-то урывками.

А в России шел праздник. Священники читали с амвонов: «Осени себя крестным знаменем, православный русский народ» — слова освободительного манифеста. Многие, среди них сам Тургенев, могли с радостным волнением повторять «Ныне отпускаеши» — сбывалось то, из-за чего давались аннибаловы клятвы. И хоть сбывалось неуклюже, тягостно, шершаво, иногда с насилием, неодобрением и даже противлением, все же шла новая Россия. Александр II знал и ценил Тургенева, зачитывался «Записками Охотника». Доля Тургенева в освобождении рабов бесспорна. Освобождающуюся Россию приветствовал он всем сердцем. Россия ответила ему свистом.

БАДЕН.

К концу пятидесятих годов у Полины Виардо стал пропадать голос. В глюковском «Орфее», которого она некогда создавала, теперь ей больше приходилось играть, чем петь. Это кажется странным. Виардо не исполнилось еще сорока. При силе ее натуры, при всем правильном, спокойном складе бытия она довольно рано выбывает из строя. Как женщина, долго еще хранит обаяние. Как мать — щедра, плодovitа: к этому времени у нее четверо детей — Луиза, Клавдия (Диди, любимица Тургенева, но вряд ли его дочь), Марианна и сын Поль, родившийся летом 57-го года. Может быть, у ней появилась седина. Но женщина, о которой в шестьдесят лет говорили, что в нее можно еще

влюбиться, в глубокой старости не потерявшая бодрости, живого блеска выпуклых, черных, редкой красоты глаз, раньше всего сдала именно в искусстве. Она чуть не на тридцать лет пережила Тургенева и мужа... и так рано отцвела в пении.

Она встретила судьбу мужественно, играть в прятки не стала. В унижительное положение себя не ставила и свистков не дожидалась. Пока могла — гремела славою. Когда инструмент ослабел, отступила. Что при этом переживала — понятно. Но вряд ли ныла, плакалась. Действия Полины Виардо были всегда разумны, ясны и решительны.

Оставаться в Париже, видевшем ее триумфы, не хотелось. Если меняется жизнь, пусть изменится место, люди, даже язык.

Она выбрала Баден. Был и хороший предлог бросить Францию: она не любила Наполеона, отрицала его режим (как муж, как Тургенев), могла объяснять переезд преимуществами Германии. В небольшом, изящном городе-курорте можно жить тихо, но среди светского общества. Зелень, музыка, чудесные окрестности — для людей, перешагнувших некий возраст очень подходяще. Полина верно рассчитала: светские и просто зажиточные девицы, съезжавшиеся со всей Европы, будут дорого платить за уроки.

Все же сначала предприняли как бы разведку: 1862 году семья Виардо жила в Бадене еще в наемном помещении. Через два года Полина прощалась с Парижем, пела в Théâtre lyrique знаменитого «Орфея». Одновременно купили в Бадене виллу и переехали окончательно — устроились широко и удобно.

Вилла стояла на прекрасном месте, Thiergarten-thal, у подошвы лесистой горы Зауерберг. Просторно, зелено, благородный и мягкий пейзаж с невысокими холмами, луга...

Теперь Тургеневу приходилось выбирать: жить ли по-прежнему в Париже с дочерью, возвращаться ли в Россию, переселяться ли в Баден. Россия казалась враждебной. В Париже пусто. Оставался Баден. Тургенев тоже сделал разведку: осенью 62-го года в Бадене у Виардо погостил. Жил там хорошо. Встречался со старинными приятелями, охотился, серьезного ничего не делал. Местность очень ему понравилась. Радовался он солнцу, чудесным осенним дням — и очевидно у Виардо вновь пришелся ко двору. Что-то вновь между ними произошло — сблизило. Годы, его великий ум, великая любовь превозмогли многое. Как будто бы увенчивалось его терпение.

Весною 1863 г. Тургенев снял квартиру на Schillerstrasse в Бадене и покинул Париж. Этот шаг его оказался очень удачным. Как в свое время Куртавенель, Баден тоже ему подходил: благородством своим, зеленовато-золотистым покоем, природой мирной и мягкой, голубыми горами на горизонте. И Тургенев подходил к Бадену. Его здесь полюбили. Ему удобно и покойно было тут работать. Своей седою, барскою фигурой украшал он скамейки близ Конверсационсгауза, под столетними деревьями, одно из которых называлось «русским». Живописно слушал музыку, живописно прогуливался по Лихтенталевской аллее, раскланиваясь с принцессами и герцогинями. И даже те самые

русские студенты (из близкого Гейдельберга), которых издали считал он врагами, нередко почтительно окружали его на гулянье.

Той же весною заканчивал он «Призраки» — вещь, ничего общего не имевшую с общественными его романами. Он задумал ее давно, еще в 57 году. Но вплотную принялся только после «Отцов и детей». Современность, новые люди, общественность, шум — от всего этого захотелось уйти. Вновь, как в «Фаусте», тронуть таинственное. (Эта линия, «Фаустом» намеченная, призраками укреплялась. В дальнейшем ей предстояло расти). Загадочная Эллис летала с ним по миру, показала (всю печаль, всю брэнность)... сама кровью его напиталась. Муза? Так некоторые думали.

Вряд ли тут было что-то определенное. Но вряд ли не испытывал он живости, остроты, изображая, как кровь его уходит, выпитая женщиной.

«Призраки» поместил Тургенев в журнале Достоевского. Их не поняла публика, как и позднейшее «Довольно», где он как бы вообще прощался с литературой. Шедеврами эти произведения не были. Но для истории души Тургенева значение их огромно.

* * *

В первый же год баденской жизни с ним случилась неприятность, довольно неожиданная. Еще в Париже, перед отъездом в Баден, получил он через посольство предписание явиться в Петербург: его обвиняли в сношениях с эмигрантами, врагами правительства — Герценом, Бакуниным и Огаревым. Он должен был дать объяснения. В противном случае грозили конфискацией имущества.

Тургенев отправился к послу, лично ему знакомому. Удивил его решительным заявлением: в Петербург он не поедет.

— Очень вероятно, что это кончится вздором. Но я старик, больной: пока я оправдаюсь, меня там затаскают.

«Старику» было сорок пять лет. У него, правда, начиналась подагра, все же он много разъезжал, любил общество, музыку, охоту — стрелял фазанов и куропаток. Отговорка, разумеется, неосновательная. Но это говорил Тургенев, прославленный писатель и такой же барин, как сам посол. Посол посоветовал ему написать личное письмо Государю.

— Государь вас любит, как писателя. Напишите прямо к нему совершенно откровенно.

Он так и сделал. Все это его тревожило, при живом воображении казалось очень мрачным. Но Государь, действительно, отнесся мягко: Тургеневу предложили ответить на опросные пункты.

В ответе частью воскрешается молодость его, дружба с Бакуниным в 40-м году в Берлине, их философские беседы и увлечения, знакомство с Герценом и Огаревым в Москве 42-го года — времен романа с Бакуниной и премухинских заоблачностей.

Тургенев взял тон спокойный и достойный. Выходило так: да, с этими людьми он не только знаком, но с Бакуниным даже и дружил — когда тот еще не отдавался революции. Далее они расходятся. (Что впоследствии он высылал деньги жене Бакунина для возвращения из Иркутска, Тургенев не отрицал). Герцена тоже знал близко. В 48-м году Герцен еще не был решительным революционером, и даже в 56-м, когда Тургенев вновь появился в Париже, а Герцен издавал «Колокол», критика его была умеренной. Дальнейшему его пути Тургенев не сочувствовал... «Герцен перестал отрицать и начал проповедывать преувеличенно, шумно, как обыкновенно проповедуют скептики, решившие сделаться фанатиками». В последние годы он все меньше и меньше с Герценом виделся. А после «Отцов и детей» отношения прекратились и вовсе: Герцен счел Тургенева «охладевшим эпикурейцем, человеком отсталым и отжившим» (как раз то же говорили тогда более левые о самом Герцене).

Герцена Тургенев, действительно, знал близко. И в 48 г. постоянно посещал его. Но «приятельства» между ними не вышло — тут Тургенев несколько сгустил даже, из добросовестности. Не мог он и вдаваться в подробности: в то, как медленно, но основательно они расходились. Герцен относился почти мистически к народу русскому и общине, Тургенев все это отрицал. Для Герцена Запад болен, Россия может показать невиданную самобытность. Тургенев считал, что Россия должна проделать путь Запада или погибнуть в варварстве — спор давний, до наших дней дошедший.

В конце концов свое положение Тургенев обозначил так: с революционерами в молодости дружил, в среднем возрасте водил знакомство, иногда по человечеству оказывал услуги, помощь, но в «заговорах» участия не принимал. За последние годы идейно спорил и разошелся... Хотите судите меня, хотите нет.

Сенат этим не удовлетворился. Предстояло ехать в Петербург. Тургеневу не хотелось. Сколько мог, он оттягивал, ссылаясь на болезнь. Наконец, в январе 1864 года пришлось выехать.

Поездка эта, вполне бессмысленная для русского государства, оказалась первостатейной в другом роде: ею открылся новый ряд писем к Вмардо, свидетельство о новой, удивительной полосе его любви.

Двадцать один год! Влюбленность, горячая близость, разлука надолго, связь во время этой разлуки, увлечение, чуть не женитьба. Встреча, страдания ревности и расхождения, годы мучительного томления, сложный и горестный путь примирения; годы «утешительных» встреч и переписки с другою изящной душой; и вот, на сорок шестом году жизни, этот «старик», которому трудно доехать в первом классе от Бадена до Петербурга и остановиться в хорошем отеле у Полицейского моста — он-то и пронизан (вновь!) чистейшим, возвышеннейшим Эросом. С Полиною, будто бы, все выяснено, все досказано. Еще три года назад казалось, что прошедшее «отделилось окончательно», что сердце умерло и он живет в окаменении — и даже если бы возродилась надежда возврата, она «потрясла бы окончательно».

Но вот возврат произошел! Неизвестны его подробности — тайна, незачем и касаться ее. Новая-ли это связь, или новая форма влюбленной дружбы? Одно ясно: есть пафос, расцвет, восторг... «Баденский» период любви — «по своему», или по настоящему — но счастливой!

Тургенев выехал в Петербург. Всего только еще Берлин. Но как бы и не уезжал. «Все время я точно во сне; не могу привыкнуть к мысли, что уже так далеко от Бадена, и все, люди и предметы, проходят предо мною как будто не касаясь меня». Он сидит один в гостинице, ждет вечернего поезда в Кенигсберг, но ни Кенигсберг, ни Петербург, где его будут судить, нисколько не интересны. Интересно, пленительно только то, что происходит в Бадене. Как Полина сидит в гостиной, играет на рояле и поет романсы — собственного ли сочинения (она занялась этим в Бадене) или, может быть, Шуберта, например, тот, редко исполняемый, который он так любил: «Wenn meine Grillen schwirren». Виардо-муж «дремлет у камелька». Дети рисуют, особенно Клавдия отличается, «Диди», его любимица.

Наконец, Петербург, «Hôtel de France» — красная бархатная мебель, почтительные лакеи, старые друзья Анненков и Боткин, близкий суд. Но через два часа по приезде, снова вечером, он уже пишет в Баден. «Не хочу лечь, не начав этого письма, которое кончу и отправлю завтра».

На другой день дел много. Во-первых, заезжает к «преступнику» председатель той самой сенатской комиссии, которая будет его судить. Затем, толчется вообще всякий народ. Но самое главное — и об этом подробно отпишет он Полине в тот же день — видел он Антона Рубинштейна. Не только видел, но Рубинштейн успел (не для Виардо же, в самом деле) сыграть все пятнадцать романсов Полины на слова русских поэтов, успел одобрить их, и многие его «поразили» (слава этих романсов так и погребена в письмах Тургенева). На следующий день обещана встреча с издателем, «и тут уж мы насядем на него вдвоем» — издателю явно не отвертеться. А за всем тем... «как только я остаюсь один, на меня нападает страшная тоска. Я так хорошо приспособился к тихой, очаровательной жизни, которую вел в Бадене... Все время думаю о ней, не в состоянии не думать, и то впечатление — будто я во сне — ... не покидает меня.

Чувствую, что буду счастлив и доволен только когда вернусь в благодатный край, где я оставил лучшую часть самого себя. С завтрашнего дня начинаю ждать писем от вас. О, как я буду радоваться им!»

И вот начинается петербургская жизнь: обеды с Анненковым и Боткиным, театры, посещения графини Ламберт, Филармоническое общество, где Рубинштейн дирижирует, заседания Комитета помощи литераторам, званый вечер у итальянского посла. Князь Долгорукий беседует с ним, князь Суворов «в высшей степени любезен», один из будущих судей его, «толстый Веневитинов, которого вы знаете, объявил мне, что дело мое пустяшное». И вообще все это пустяки, шумный и пестрый сон, а важно то, что «я почувствую себя счастливым только когда вернусь в мою милую маленькую долину». Важно то, чтобы не запоздало и не пропало письмо от Полины. А Петербург, мягкая сыровая зима, бал в Дворянском собрании, где присутствует Государь и у всех дам волосы напудрены или просто распущены по плечам и связаны только широкой лентой,

сборище, где больше красивых туалетов, чем лиц, нарядный Петербург, задающий тон модам — тоже случайное, тоже сон.

В конце января решалось его дело. О нем он ни слова не писал Полине. Но вот что интересно: Виардо выступает в Карлсруэ («Орфей» для провинции), так пусть она не забудет сообщить о дне спектакля. Не хотелось бы возвращаться в Баден, когда ее там нет. «Надо, чтобы мне дано было счастье видеть вас на вокзале — ведь вы, надеюсь, встретите меня! Das Herz mi gim Leide hupfen... Не хочу об этом много думать; это такое огромное счастье, что я наверно буду мучиться предчувствиями и страхами, что оно не сбудется... Но нет! Бог добрый, и Ему приятно будет посмотреть на человека, обезумевшего от радости»...

Наконец, «суд» состоялся. Тургенев приехал (вероятно, в карете), в Сенат. Чинные служители, пристава, письмоводители. Молчаливая зала — светлая и парадная. За зеркалом важные старики в мундирах, генералы, сенаторы — все знакомые. Перед подсудимым извинились, что не могут его посадить — и боялись его больше, чем он их. Задали несколько мелких вопросов. Потом провели в отдельную комнату, посадили, дали толстую переплетенную тетрадь.

— Видите, где заложено бумажками, дело вас касается. Просим письменно ответить.

Он ответил, и с таким же парадом уехал, в великолепной шубе, с палкой, кутая забнувшие ноги в теплом меховом одеяле. Вечером ужинал, опять с кем-нибудь из судей. А Полине писал так: «Не умею сказать вам, до какой степени я постоянно думаю о вас. Сердце мое положительно тает от умиления, как только ваш милый образ — не скажу: является мне мысленно, так как он не покидает меня — но как будто приближается».

Далее не выдерживает, переходит на немецкий язык: всегда у него признак глубокого волнения. «Все время чувствую на своей голове дорогую тяжесть вашей руки и так счастлив сознанием, что принадлежу вам, что хотел бы изойти любовью, непрерывным обожанием».

Суд вынес решение 28-го января. Тургеневу разрешили выехать за границу — обязали только немедленно явиться в случае вызова. (Окончательно оправдан он был позже, 1 июня).

В марте возвратился Тургенев в свой Баден.

* * *

Ясно, он пускал тут корни. Хотелось осесть как в Спасском. Хозяева дома, где он жил, любили его, но считали неосновательным, kindisch: у немолодого, знаменитого писателя на дверях пришпиlena, например, записочка: «г. Тургенева нет дома» — тщетная защита от посетителей. Herr Turgeneff постоянно ходит к Виардо, а если у ней

малейшее нездоровье, или Диди лишний раз чихнула, то тревожится безмерно, навещает по несколько раз в день, посылает записки. Все это «несолидно».

Тургенев и сам чувствовал, что пора устроиться удобнее (и еще ближе к Виардо). Он решил строить дом.

Место выбрал рядом с виллой Виардо — десятины полторы земли с фруктовым садом и старыми, вековыми деревьями. Очень нравились они ему мощью своею, зеленью. Даже кора деревьев была покрыта изумрудным мхом. Особенно же восхищал родник в саду — чудесная ключевая вода, крепость, прозрачность, холод...

Дом строил архитектор-француз, в стиле Людовика XIII с башенками, аспидной крышей, просторными светлыми комнатами, огромной театральной залой, стеклянными дверями на полукруглую террасу. Нужны были деньги — и немало. Спасским управлял в это время дядя Тургенева, Николай Николаевич, бывший блестящий офицер, ныне опустившийся неряшливый старик, склонный к плотоугодию и хозяйство ведущий неважно: Иван Сергеевич и половины не получал того, что следовало бы.

Дядя вечно кряхтел, жаловался на огромные траты и вместе с Фетом осуждал расточительность Тургенева (а Тургеневу не нравилась дядина бестолковость, что и привело к тягостному разрыву).

Постройка шла медленно, более трех лет. Пока же тургеневско-виардовская жизнь сосредоточивалась в доме Полины.

Романсы ее в Петербурге напечатали, и вероятно, кем-то они пелись. Но сама она не только сочиняла их: в Бадене создала изящный музыкальный центр. В саду у ней был павильон с роялем, висели картины, собранные мужем. По воскресеньям здесь устраивались музыкальные утра. Пела хозяйка, пели ее ученицы, выступали известные музыканты. Все это — очень модно, блестяще, с избранной публикой.

Позже, когда заканчивался дом Тургенева (1867-68 г.), собрания перенесли в его музыкальную залу: там все получилось еще наряднее. Мудрая Полина придумала удачную вещь: чтобы давать возможность ученицам исполнять легкие партии, ставила небольшие оперетки. Тургенев тут оказался кстати — некий русский Бембо при дворе герцогини урбанской: сочинял текст. Поэт, слава которого продвигалась уже в Европу, писал для спектаклей Виардо фантастические безделушки: *Le dernier des sorciers*, «L'ogre», «Trop de femmes» — музыку к ним сочиняла Полина. Пьески содержали много женских ролей. Сама Виардо пела какого-нибудь принца, ученицы — гаремных жен, и т. п. Людоеда, колдуна, пашу изображал Тургенев. Выходило тонко и художественно. Король Вильгельм, королева Августа, великий герцог баденский, принцы, принцессы, дамы общества, знатные иностранцы, артисты, русские князья, развлекавшиеся в Конверсационсгаузе и гулявшие по Лихтенталевской аллее — все это заседало в зрительной зале. Утра проходили успешно (одно представление перенесли даже в Веймар, в настоящий театр — как бы восстанавливая времена Гете. Музыка Полины обрабатывал Лист). Попасть на эти собрания — честь. Послушать Виардо, светских девиц — приятно. Поглядеть известного русского писателя, некоего белого медведя в роли колдуна — забавно.

Награда Полины, кроме рукоплесканий и рекламы школы — королевские подарки. Она получила, например, браслет. Луи Виардо прекрасную вазу. Тургенев наград не получает. Иногда ему весело, смешно. Всегда радостно содействовать успеху Полины. Но случается, что и тоскливо. «Должен сознаться, что во мне что-то дрогнуло, когда я в роли паши лежал на полу и заметил легкую усмешку презрения на неподвижных губах вашей надменной кронпринцессы».

Но тут же прибавляет: «При всем том, наши спектакли были очень милы и приятны».

* * *

В первом же письме Тургенева графине Ламберт из Бадена есть опасения, что их переписка и дружественные отношения могут прерваться. Он оказался прав. Различия во многом между ними ширились. Писание в духе «Отцов и детей» мало графине нравилось, хотя по-другому, чем молодежи. Ей хотелось, чтобы он дал «простую и нравственную повесть для народа». (Тургенев блестяще защищал свою художественную вольность: пишу о чем хочу — куда клонится сердце — это сущность искусства). Казалось ей, что он отходит от родины. При ее мистическом настроении — что он слишком далек от веры, главное, удаляет от нее дочь. Насчет родины Тургенев признался ей сам: «Россия стала мне чужда, и я не знаю, что сказать о ней». Против упреков насчет дочери возражает — и не без горячности: «Я не только «не отнял Бога у нее», но сам хожу с ней в церковь... И если я не христианин, то это мое личное дело, пожалуй, мое личное несчастье».

Но главное, конечно, в том, что изменилось у него с Виардо. Что нашел он некий способ нежного «вблизи бытия», и вновь загорелся. Правда, говорит он об этом скромно: «Оттого ли, что мои требования стали меньше, оттого ли, что там (в Бадене) мое настоящее гнездо, только я замечаю, что с некоторого времени счастье дается мне гораздо легче». Но ведь не мог он описывать графине слишком ярко, как он любит Виардо.

Во всяком случае, утешительница теперь не нужна. Никогда графиня Ламберт не могла соперничать с Виардо — даже в самые трудные времена. Теперь победа великой, двадцатилетней любви над чувствами смутно-тонкими — окончательна. Письма становятся реже. Попадают фразы: «из некоторых ваших выражений я должен заключить, что вы сами сочли за лучшее умолкнуть». И далее, уже в 64-м году: «Я вам очень благодарен за ваше письмо, хотя вы и браните меня, и прощаетесь со мной».

Грустно следить за умиранием долгих, чистых и прекрасных отношений. Переписка увядает — ничто не восстановит уже ее. Утешительница необходима, когда Тургенев одинок. Но с приближением Виардо не нужна. В одном из «предсмертных» писем предлагает он графине сделать так: если она, после глубоких потрясений, ее постигших, хочет со всем покончить с прошлым где одна горечь: пусть ему не ответит —

он поймет. Он хотел бы весьма скромного: не поднимая ничего «со дна», установить простой обмен дружеских писем, освещающих жизненные события.

На этом удержаться было нельзя. Графиня умолкает. Быть может, в своей печальной и холодноватой чистоте она и недовольна несколько Тургеневым. Переделать его, обратить — не удалось. Она навсегда сошла с его пути. Нигде далее нет о ней ни слова. Но ее облик навсегда с ним связан, сквозит в каждом письме его к ней.

Мы знаем о ней лишь еще то, что Тургенева она не пережила: скончалась в 1883 году.

* * *

Итак, Виардо рядом — Виардо в хорошей полосе, как то «отвечающая», как то «позволяющая» себя любить. Природа, леса, зелень. Довольство, охота. Медленно возводящийся, но, наконец, готовый собственный дом. В нем бывает прусский король. Есть и верные друзья — Полонский, Фет. Есть и немецкие: Людвиг Пич, литератор, критик, восторженный обожатель Тургенева. Он нередко гостит в Бадене — дружит и с Виардо. В новом доме всегда ждет его комната: «la chambre de Pietch vous attend». В саду, у любимого ручейка, небольшой павильон. Там утром можно пить чай с тем-же Пичем, любоваться видом гор, заросших лесом, зелеными лугами Тиргартенталя. Где-нибудь вдалеке руины древних замков — Иффецгейма, еще иных. Тургенев много и добродушно рассказывает — он в домашнем костюме, несмотря на западничество свое — иногда в русской косоворотке, сверх нее сюртук. Пич слушает с благоговением. Для честного, немудрящего немца каждое слово Тургенева — золото. Говорят об искусстве, России, литературе. Перед завтраком обсуждают трудные места переводов — «Дыма» ли, других ли произведений. Завтрак в столовой, отделанной деревом — окна глядят на простор, зелень. Кабинет с картинами старых голландцев. Библиотека — не такая, как в Спасском, но все же библиотека. За садом и за забором дорогие соседи. Туда во второй половине дня направляется Тургенев, иногда в той же косоворотке запросто, как домой. опирается слегка на палку, поправляет седые кудри, на ногах его мягкая обувь: начинается подагра, иногда мучит его. За ним лохматый Пегас. Старик Виардо что-нибудь работает — знаменитый друг обрусил весь дом: Полина сочиняет романсы на слова русских поэтов, Луи переводит на французский русских авторов и самого Тургенева. Девочки уже большие. Поют, рисуют. Диди может прекрасно изобразить ко дню рождения Тургенева Св. Семейство. В доме постоянно и «чужие» девицы: их обучает Полина пению. Есть иностранки, есть русские. Из Карлеруэ приезжает с мамашей молоденькая русская графиня, одна из богатейших невест Европы — за большие деньги берет уроки (певицы из нее не вышло, но Виардо в ней след оставила). Полина седовата, но жива, бодра, черные ее глаза сияют. Если графиня не разучила каких-нибудь упражнений, она недовольна, глаза неласковы.

— Я не могла, мадам Виардо... мне не удастся... это трудно.

Девушка робеет и стесняется.

— Еще раз. Прodelаете еще раз.

— Это, кажется, мне не по голосу.

— Нет, это вам по голосу.

Полина Виардо знает, что говорит. И опять начинаются упражнения.

Иногда осторожно отворяется дверь, на пороге огромный Тургенев. Он придерживает своего Пегаса. Виардо смотрит на него тоже не без строгости. На лице его слегка виноватое выражение. Она продолжает свой урок.

— Только, чтобы ваш Пегас не завыл. Уж пожалуйста.

Тургенев садится покорно, скромно. Грозит Пегасу. Тот усаживается у его ног, высовывает длинный, розовый язык. Дышит часто, оттягивая назад брыли, умными глазами глядит на графиню, иногда слегка повизгивает. Хозяин испуганно зажимает ему рот, отрываясь от палки, на которую опирается.

— Ну вот, вы видите, теперь у вас понемногу налаживается. Не думайте, что искусство простая вещь. Везде нужна воля, надо преодолеть себя. Тогда и выйдет. То, что я говорю вам, вы должны исполнять. И все будет хорошо.

Если месяц этот август или сентябрь, то Тургенев с Луи Виардо могут и закатиться на охоту. В Бадене не то, что в Спасском: Афанасия и Полесья нет, но есть отличные фазаны, куропатки. Охотники наезжают нарядные, титулованные, с титулованными собаками. Но Тургеневский Пегас тоже на высоте. Например, под Оффенбургом, выходит линия охотников из леса на опушку. Впереди поле. Пегас прямо тянет на купу земляных груш. Соседние собаки ничего не чувят, а он ведет — как бы не осрамиться — вдруг окажется жалкий зайчишка. Но Пегас ведет уверенно. Стойка. Два чудесных фазана вырываются из под нее. Тургенев дуэтом кладет обоих — и счастлив. Зато какой ужас, когда смажет! Немолодой, громадный человек бросается на землю, кричит:

— Нет, после этого жить нельзя!

По вечерам ходят они с Пичем к Виардо. Там серьезная музыка: Бетховен, Шуберт, пение хозяйки, долгие разговоры. Раньше часа, а то и двух, не расходятся. Бывает, что вернувшись, Пич беседует с Тургеневым еще в саду — в лесу аукает сова, ручей тургеневский журчит. Грушевые, ореховые деревья чуть шелестят. Пегас прислушивается. Что-то чует, ворчит, фыркает. Над дальними лугами бледно-романтический туман, звезды на небе, безответная луна, восторженный Пич.

Мир и идиллия. Казалось бы, вот жизнь полная, мудрая, среди поэзии, любви, искусства, книг — далекая от шума и базара.

Но у ней есть и другая сторона. Не один блеск звезд и мелодии Шуберта доходят в Бадене до Тургенева. Есть и «действительность». Есть накопляющийся горький о ней опыт. В том же сердце живут яды, его отравляющие.

После «Отцов и детей» нет покоя душе Тургенева. С Виардо так или иначе налажено, с Россией, литературой разлажено. Трудно забыть оскорбления — и они все растут. Число недругов не убывает. Не только Некрасов и «Современник», но и Катков со своим «Русским Вестником» оказываются врагами. Само то, что в России делается, и радует, и раздражает.

Нелепое чванство молодежи, разгул «левизны», нигилизма, готовящаяся нечаевщина... А на другом конце — «свет», чиновничество, мракобесие: тоже не лучше.

Из сложных и горьких чувств возник «Дым» — главнейшая вещь баденской полосы. В нем давняя черта, еще молодого Тургенева — холодная насмешка и пренебрежение, яд, хуже того: брезгливое презрение к обществу и людям. Всем досталось, генералам и политикам, Губаревым и молодежи, болтунам и лжепророкам. Одно вознесено: любовь. Она одна священна, написана полным тоном. И это любовь страсть, разрушение, любовь-беда, болезнь. Ирина и

Литвинов — лишь вокруг них кипит пламя — остальным нет пощады. «Добрый» Тургенев, умевший и обласкать, и помочь, очаровать — тут жесток. В «Дыме» мало человеколюбия. Надо прибавить: именно это язвительное, не человеколюбивое и не удалось ему. Гоголь стоял на великом сарказме, трагическом. Насмешка Тургенева вышла не крупной — не идет в сравнение с любованием лучших его вещей.

И все же «Дым» замечательный роман, двусторонний, двухстворчатый, неудачно-удачный, окрыляющее-пригнетающий. Отразил он создателя своего, двуликого Януса. В воздухе «Дыма», в душевном настроении: «все дым», все белые клочья, летящие из трубы паровоза, безвестно развеивающиеся — жил одной стороной своей баденский Тургенев. Как связать это с высочайшими, нежнейшими чувствами к Виардо?

В 67-м и 68-м г. г. он вновь ездил в Россию — по делам Спасского (денежным). Был опять и в Берлине, и в Петербурге, видел немецких художников, петербургских Анненковых, мценских Борисовых и орловских купцов, купивших у него роцу (из этой роцы и начал он «откладывать на приданое Диди»). Прошло двадцать пять лет, как он познакомился с Виардо, и вот что он ей пишет из всей пестрой сутолки путешествия: «Пожалейте вашего бедного друга — в особенности за то, что он расстался с вами. Никогда еще разлука не была так тяжела: я ночью плакал горькими слезами». «Ах, мое чувство к вам слишком велико, могуче. Я больше не могу, не в состоянии больше жить вдали от вас»... «День, когда мне не светили ваши глаза, для меня потерянный день».

Опять то же, что было и в 64-м году: жизненные дела, счета с дядей, школа, устроенная на его средства в Спасском, мужики, «запах дегтя от смазных сапогов двух попов из Спасского, которые пришли навестить меня» — все это пустяки, скучно, ненужно. А вот, в Петербурге: «Я с нежностью прохожу мимо дома, где вы останавливались, когда были в Питере. Сколько воспоминаний! Так давно это было — четверть века, а я так живо все помню... Это потому, что эти воспоминания связаны с другими, которые продолжаются и поныне почти без перерыва...» Горькие годы забыты? Забыты страдания Куртавенеля, стенания в письмах к графине Ламберт? А осталось такое:

«Незачем и говорить вам, как много я думал и думаю о Бадене. Буду счастлив только когда вернусь туда».

Точно бы две половины, два мира. В одном Некрасовы и Губаревы, Катковы, Суханчиковы и Бамбаевы. Газеты, денежные дела, семейные, ссоры, политика, может быть даже «прогресс», может быть, родина. Здесь всегда можно ждать оскорблений, непонимания. Вечно надо что-то устраивать: добиваться от дяди побольше доходов, выдавать замуж дочь, выслушивать истерические нападки Достоевского (посетившего его в Бадене, безумно раздражившегося барственностью Тургенева и тем, что был должен ему, и западничеством «Дыма», и каретой Тургенева). Этот мир точит, мельчит, разжигает тщеславие.

В другом мире — «только у ваших ног могу я дышать» — Полина Виардо, Ирина, безмерность любви, горы, зелень, родник, птицы, звезды над Баденом. Любовь и природа — это действительно его животворило.

Одной ногой здесь, а другой там, пред зрелищем последней тайны: Смерти, все упорнее заглядывавшей в глаза, и жил Тургенев в Бадене. Быть может, он непрочь был и закончить дни свои на берегах Ооса, в германской светло-зеленой стране, на подобие Гете, Петрарки в Воклюзе, Бембо близ Падуи.

Но все вышло иначе. И мирное житие кончилось, и любовь еще раз обманула.

КАТАСТРОФА

«В человеческой жизни Бог волен, — и если бы я внезапно окачурился, — то ты должен знать, что оставленные у тебя на сохранении акции мною куплены для моей милой Клавдии Виардо — и потому должны быть — в случае какой-нибудь катастрофы — доставлены г-же Полине Виардо, в город Баден-Баден». Так писал Тургенев другу своему Маслову, верному исполнителю поручений, в июне 1870 г.

Письмо это помечено Спасским. Тургенев часто ездил летом в Россию — всегда теперь за одним: продавать какую-нибудь рощицу, «землицу», и т. п. Для широкой жизни в Бадене деньги необходимы. Невредны они и для семьи Виардо — девушки подрастали, приходилось думать и о приданом. Вот деревенская жизнь Тургенева: «Я здесь работаю двояко: по части литературы — переправляю и перепахиваю мою повесть... — и по части финансов — продаю клочки земель и вообще стараюсь извлечь как можно больше «пенензы».

В Спасском в это время хорошо. Солнечные пятна в парке. Благоухание покоса, пчелы, земляника. Горлинки курлыкают, шмели гудят. «А кругом двести десятин волнующейся ржи! Приходишь в какое-то неподвижное состояние, торжественное, бесконечное и тупое, в котором соединяется и жизнь, и животность, и Бог».

Повесть, которую он перепахивал, была «Степной король Лир» — вновь родная земля, воспоминания юности, поля, чернозем, тень Варвары Петровны — на сей раз не грозная. Баден далеко. Виардо тоже. Нельзя сказать, чтобы все было мирно с Полиной — некие тучи появились... И писем из Спасского в Баден за этот приезд не видно. Все-таки и особого мрака в Тургеневе не заметно. Он мирно трудился и «торговал», может быть, стрелял первых уток по болотам и вероятно, не весьма следил за газетами. А между тем, на любимом его Западе нарастали события. Пока в Спасском шумели ржи, в Париже, Эмсе, Берлине совершались между Наполеоном III, герцогом де Граммоном, Бисмарком и тем самым королем Вильгельмом, который слушал на вилле Тургенева оперетки — дела тайные, первейшей важности. Об этих делах «мы» узнаем лишь когда раздадутся выстрелы. Окончив деревенские свои занятия, Тургенев как обычно выехал в Петербург. И пока обедал у Анненкова в лесном, дружественно беседовал с многословным Полонским, французский министр иностранных дел нажимал на Пруссию с ультиматумами. Нельзя было пустить немудрящего немецкого принца на испанский престол (предлагавшийся ему как удобное «место» с хорошим окладом). Тургенев читал друзьям в Петербурге повесть, а самоуверенные французы упорствовали, Вильгельм не очень то желал войны, Бисмарк-же и Мольтке именно ее желали (и не зря) — хитрили, вызывали. И вызвали.

Революцию Тургенев некогда, в Париже, пережил. Для заполнения опыта настигла его теперь война.

Он попал в Берлин из Петербурга чуть ли не в мобилизацию, во всяком случае, в предвоенную суматоху и, вероятно, не без труда добрался до Бадена — сделал это, все-таки, вовремя, ибо скоро поезда вовсе прекратились (для частных лиц). Все заняла война.

Иначе и быть не могло. Немцы вели большую игру. Выступить против Франции это не то, что воевать с австрийцами или датчанами. Франция считалась первой военной державой. Но немцы верили в свою молодость, силу, дисциплину и на этом отыгрывались. Их мобилизация шла безупречно. Дороги работали как на маневрах. Армии сосредоточивались и развертывались быстрее, точнее французских — наступательный порыв тоже на их стороне: война начиналась удачно.

В Бадене Тургенев застал положение сложное. Луи, Полина Виардо — французы, «враги». Правда, они Наполеону не сочувствуют, в некотором смысле «пораженцы» — все же представители враждебного народа. Рядом с этим, в последнее время стал завсегдатаем дома новый приятель Полины, баденский доктор, немец. Он очень близко вошел в ее жизнь, так близко, что надо было быть стариком Виардо, чтобы терпеть это — да Тургеневым, тоже ко многому уже приученным. (Его сопротивление могло быть лишь пассивным — вот и не писал он писем из Спасского). Так что теперь оказались одновременно в Бадене Франция, Россия, Германия. Все были в волнении. Запутанность семейная, разноплеменная, натянутость между мужчинами, война — все тревожило. Оседлость перестали ощущать. Баден недалеко от границы. Как война сложится, толком не знали. Но слава Франции была велика, и нашествия опасались. Очевидно, жили «на сундуках». «Мы на все готовы», писал Тургенев Милютиной 20 июля 1870 г.: «и в случае нужды уедем в Вильдбад — в каретах, так как все сообщения по железным дорогам прерваны. Я говорю: «мы, т. е. семейство Виардо и я; я с ними не пасстанусь».

«На первых порах в успехах французского оружия сомневаться невозможно. Лишь бы пожар не охватил всю Европу!» Так что Тургенев и Виардо предполагали бежать из Бадена «в каретах» от французов, от «тюрокосов», которые якобы перейдут Рейн.

Но война развилась явно не так, как думали мирные артисты. Немцы сразу захватили инициативу и повели наступательную кампанию. А французы оказались столь же неподготовленными, как мы в крымскую войну. Войсками командовали неспособные генералы. Армия была плохо снабжена, плохо вооружена, плохо маневрировала. События пошли очень быстро. Неправильно сосредоточенная французская армия наткнулась отдельными корпусами на превосходные силы немцев и терпела поражения. (Мак-Магон под Фрейшвиллером, Фросар под Форбахом). Главнокомандующий Базен стал отступать в районе Меца, на Верден. 18-го августа разыгралось — неизвестно даже, хотел этого или не хотел загадочный Базен — большое сражение при Гравелотте под Мецом. Французы были попросту разбиты (обходным движением саксонцев). Теперь нечего было беспокоиться за Баден Тургеневу и Виардо. Французы отступали, в Бадене радостно звонили колокола, возвещая победу. Базена заперли (с целой армией) в Меце, началась осада Страсбурга. А 2-го сентября произошел величайший скандал войны — сдача под Седаном, где французы попали прямо в ловушку. В плену оказался сам Наполеон.

Тургенев и оба Виардо вначале были вполне на стороне немцев — по нелюбви к французскому режиму. Седан встретили одобрительно. Однако, у Тургенева в самом этом одобрении была уже тревога. («Я не скрываю от самого себя, что не все впереди розового цвета — и завоевательная алчность, овладевшая всей Германией, не представляет особенно утешительного зрелища»). Бомбардировка Страсбурга совсем его не радовала. В сентябрьском письме Пичу говорится ясно: «Падение империи было большим удовлетворением для бедного Виардо. Конечно, теперь сердце его обливается кровью, но он сознает вполне, что все это — заслуженная Францией кара. Что касается меня, то я, как вам хорошо известно, настроен совершенно как немец. Уже потому, что победа Франции была бы гибелью свободы. Вот только не следовало жечь Страсбурга».

Подходило время и тургеневскому сердцу обливаться кровью: разоряли Францию, родину Полины. Громили тот самый Куртавенель, где столько было пережито. Если плох Наполеон, то противен и Бисмарк со всей прусской военщиной, тупой и грубой. Тургенев любил Германию. Но Германию «Аси» и Гейдельберга, Бадена, гетевского Веймара. Эта Германия в победоносной войне кончилась. Машина, дух которой впервые почувствовал он некогда в Париже, читая в Пале-Рояле об успехах Америки, теперь выступала и в Европе. Машина разгромила старую, пусть и порочную, но артистическую Францию.

Завещая Маслову акции для Диди, Тургенев думал о собственной смерти — эту катастрофу имел в виду. Жизнь преподнесла ему другую.

В доме Виардо работали два немецких раненых, театр войны удалялся, кареты в Вильдбад были не нужны. Но все же Луи и Полина Виардо — французы. В известный (и быстро наступивший) момент им пришлось Баден покинуть. Мирно-идиллическая жизнь кончилась. И не только покинуть, но и потерять достояние. Виардо собрались и уехали — так спешили и так, очевидно, были подавлены, что многого не доглядели: например, того,

что таинственный доктор в суматохе похитил у Полины все письма Тургенева, с 1844 по 1870 год.

Сам Тургенев несколько запоздал — из-за болезни (в эти годы подагра уже мучила его). Но одному в Бадене не усидеть. В конце октября он укладывается, а в ноябре уже в Лондоне. Там и семья Виардо.

Мрак, туман Лондона, холодная квартира, болезни, полу эмигрантская жизнь... Полина дает уроки, выступает кое-где публично. Держится бодро, мужественно. Все на ее плечах. Имя и жизненность выручают: уроки по-прежнему ценятся высоко — 100 франков в час — семья не опускается.

А во Франции продолжается война, формируются армии в провинции, Париж осажден, взят, торжество немцев полное.

Зимние месяцы Тургенев провел в Лондоне. На февраль-март выехал в Петербург — снова за деньгами. Теперь трудно приходится не только Виардо, но и собственной его дочери (вышедшей в середине шестидесятых годов замуж за французского коммерсанта Брюэра). Вероятно, в связи с войной Брюэры на краю гибели. Вновь появляется приятель Маслов. «Любезный Иван Ильич! Анненков прислал мне письмо моей дочери, которое состоит из одного вопля; если она в скорости не будет иметь 40.000 франков, то она с мужем «погибла» — и далее ясно, что, продавая имение Кадное, можно «уступить две-три тысячи рублей» — лишь бы продать.

Это посещение Петербурга тем лишь отличается от прежних, что все — и дружеские, и светские встречи, и обеды, и выступления идут на фоне войны. (Русское общество за Францию. Жалеют взятый Париж, ужасаются условиям мира, контрибуции, и т. п.). Обо всем этом пишет Тургенев Полине в Лондон. Пишет спокойно, сдержанно, совсем не в тоне писем в Баден отсюда же, в шестидесятых годах. Нет прежнего раскрытия сердца, восторга... Не зря таинственный доктор сидел ежедневно перед войной у Полины. Пусть сейчас его нет в Лондоне — все же он был, довольно долго, упорно — увез всю прежнюю переписку Тургенева: в сущности, похитил целую жизнь!

Эти петербургские письма (февраль-март 1871 г.) — последние к Виардо. Из них можно узнать многое о настроениях столицы, о концертах, Рубинштейне, композиторе Серове, Антокольском, об успехе «Степного короля Лира», о великой княгине Елене, и т. п. — только не о сердце Тургенева: оно как бы завешено легкой, но горестно-непроницаемой вуалью.

Он вернулся в Лондон весной. Франция была в отчаянии. Недостаточно свергнуть Наполеона. Тяжкие чувства поражения искали еще выходов, более кровавых. Коммуна в Париже продолжила тот же 48-й год, который пришлось ему некогда видеть вблизи. Париж бунтовал, бушевал. Немцы злорадно взирали на братоубийственную брань — теперь Тьеру и версальцам приходилось умирять, с высот С. Клу, обезумевший город. До Тургенева, в Лондон, как и до Флобера, в Руан, доносились лишь стоны этой новой войны. Впечатление от нее, даже издали, было ужасное (так же чувствовал и Флобер). Тургеневу просто казалось, что от Франции остается «мокрое пятно».

Но ни Франция, ни Париж не пропали. Тьер пролил море крови, чуть не все рабочее население города погибло (одолела Франция крестьянская и мелкособственническая), но Париж уцелел, хоть и пострадал в бомбардировках и боях. Кровь быстро замывается. Погибших забывают, дома застраиваются, мостовые чинят... жизнь идет. Мир заключен. Начинают — без особых затруднений — платить контрибуцию. Скоро страна, против всяких ожиданий, зацветет вновь. Виардо временно возвращается в Баден. Там распродают что можно. Продал заодно и Тургенев свой дом, над которым столько трудился, где, может быть, собирался кончать дни. И великий Париж, оживающий, вновь всасывает эту странную русско-французскую семью. В декабре все уже на рю Дуэ.

Чужие беды мало задели Тургенева. На «события» французские он никак не откликнулся. Внутренняя жизнь шла своими, особенными путями. На новом месте, после мытарств, изгнанничества, потрясений написал он (быстро и оживленно), последнюю свою повесть о любви здешней — «Вешние воды», столь же не имевшую связи с войной, как «Первая любовь» с освобождением крестьян. Вспомнился давний Франкфурт, кондитерская, прекрасная еврейка (обратившаяся в итальянку Джемму), и еще раз явилась «роковая женщина». Еще раз показана «страшная» сила любви, владычество женское, слабость, позор мужчины. Некогда Петушков погиб у булочницы. Потом «Алексей Петрович» поддался ничтожной танцовщице, Литвинов бросил невесту для Ирины — а теперь в «любовь-болезнь» попал Санин. Основная черта еще не изжита...

«Вешние воды» вещь глубоко-тургеновская, фатальная, очень значительная. Она рождена важными душевными событиями. Недаром писал он из Петербурга Полине о только что привезенном в Эрмитаж сфинксе: «Я бы очень хотел, чтобы Виардо посмотрел этого сфинкса».

Сам он насмотрелся на него в жизни достаточно.

ПАРИЖ

Может быть, легче перенес Тургенев немецкого доктора, чем в свое время Арии Шеффера (и первый уход Полины). Все-таки военный разгром баденской жизни совпал с внутренним. Поздно, безнадежно было перестраиваться, еще раз приближаться к Полине: ему шел пятьдесят четвертый, ей исполнилось пятьдесят, но чувствовал он себя много старше. И когда в Лондоне заболел, а Виардо уехали, всей семьей, по делам, оставив его одного, вряд-л представлялся себе молодым и любимым. «Несомненно на земле только несчастье», писал некогда графине ламберт. Несмотря ни на какую зелень и свет Бадена не приходилось от слов этих отказываться. Но удалиться от Виардо внешне тоже было поздно.

И в Париже ожидала его некая торжественная усыпальница. Он поселился вновь с Полиною, на rue de Douai, в верхнем этаже особняка. Стоявшего entre la cour et le jardin. Низ принадлежал Виардо. Большой салон, гостиная, картинная галерея — устроено все было удобно и даже с роскошью. Здесь Полина давала уроки, устраивала музыкальные вечера, принимала. Наверх вела лестница темного дерева — в четырех комнатах жил Тургенев — более скромно, но все же с удобствами. (Он любил аккуратность: тщательно убранный стол, порядок в предметах — ненавидел бумажки, зря валявшиеся и т. п.). Стоял у него небольшой рояль, много книг, портреты любимых людей, картины.

А сам он теперь — исторический монумент (со всею своею славой), un ami catalogué, но в отставке, седовласый, покорный, раз навсегда сдавшийся. К нему подымались наверх русские друзья и просто знакомые, иногда и вовсе незнакомые. Прийти можно было и утром, и днем, пройдя внизу через контроль — не очень легкий — г-жи Виардо. Бывали писатели, и художники, бородатые эмигранты вроде Лаврова и просто неведомые личности. Одни разговаривали часами. Другие приносили рукописи. Третьи просили рекомендательных писем. Четвертые денег на революционный журнал. Ami catalogue, первый писатель России, был как бы российским послом в Париже. С его неаккуратными и неопрятными гостями приходилось г-же Виардо мириться, хотя радости в этом не было. И насколько никто не боялся самого посла, настолько осталась в памяти у русских седая дама в наkolке, с черными, живыми и огромными глазами, суховато распоряжавшаяся внизу.

Российский посол проявлял много терпения и грустной доброты. Никому он ни в чем не отказывал. Давал письма, покорно выслушивал разные нравоучения, покорно деньги выкладывал. Вряд ли особенно занимали его эти люди. Вернее — и утомляли, иногда раздражали. Сердца своего он им не отдавал. Но не отталкивал — силою прямого отпора не обладал, прохладность же его, шедшая с давних лет, как и меланхолия, были все те же. Впрочем, кое-что и наблюдал он в пришельцах — наблюдательность никогда его не оставляла, но это верхний слой Тургенева (касалось внешнего). Жил же он собой, а не людьми — своими чувствами, размышлениями, «горестными заметами» души. Люди вокруг — обстановка. (Искренние его друзья — Полонский, Анненков, хорошо понимали свою роль). Кроме стареющей Виардо ему по-настоящему никто и не был нужен. (Но Виардо и ее семья стали уже частью его самого. Все же превратности любви — восторги, унижения — все это прошлое). А вот, например: Герцена он знал с молодости, очень близко. Правда, к концу жизни стали они дальше. Все-таки, незадолго до смерти Герцена Тургенев у него обедал, был шутлив. Мил, весел... А когда тот умер, как-то вышло, что Тургенев и на похороны не попал (хотя и мог приехать. Как не попал, некогда, и на похороны собственной матери). Если бы Герцен к нему явился и просил о чем-нибудь, он, не задумавшись, все сделал бы. Занят же Герценом не был никогда.

Во всяком случае, в полубольном, старом и горестном Тургеневе достойна всяческого уважения черта сочувственности к людским бедам, не отталкивания. Уже одно терпение, с каким он слушал! То, что находил время поехать попросить и поклониться. Что читал бесчисленные безнадежные рукописи, писал мягкие письма, искал работу, устраивал больных в лечебницы, давал деньги на школы, возился с литературно-музыкальными утрами в пользу нуждающихся, учредил первую в Париже русскую библиотеку*) — не так уж это мало, и не так похоже на писателя «европейского».

А вместе с тем, именно европейским писателем он и был — теперь чуть ли не французским. Правда, сердился, когда спрашивали: верно ли, что по-французски и рассказы свои пишет? Тут Спасскре, Мценск. Орел пробуждались в нем. «Нет, нет, всегда по-русски!» (он французский язык не очень-то и любил, хотя знал превосходно. Был к нему не совсем справедлив).

В парижскую же литературную жизнь вошел сильно и след оставил.

С Жорж Санд (которую очень ценил) и с Мериме знакомство его давнишнее, счастливых времен Куртавенеля. А в начале шестидесятых годов познакомился с Флобером — и сдружился. Настолько он к Флоберу привязался, что считал, — только и было у него два друга настоящих: Флобер да Белинский (в юности).

Кроме Флобера «широко» встретился с французскими писателями тоже в шестидесятых годах, на обедах в ресторане Маньи. Куда ввел его Шарль Эдмонд. Там бывали: Сэнт Беев, Теофиль Готье, Флобер, Гонкуры, Тэн, Ренан, Поль де Сен Виктор и др. Тогда Тургенева знали во Франции только как автора «Записок Охотника», но писатели встретили как «своего», равного по чину — почтительным приветствием на первом же обеде.

Ближе и прочнее сошелся, однако, с более молодыми.

Добрый духом и «гением местности» тут являлся Флобер. И нельзя, говоря о парижских годах Тургенева, не помянуть этого рыцаря французской литературы.

Когда вспоминаешь Флобера, он представляется в неких летах — не подымая забрала, проходит сквозь жизнь, в одиночестве, честном труде, отбиваясь от пошлости, разя глупость, широко дыша вертами морей. Пустынь и звезд, тая сердце мужественное, глубоко-раненое, навсегда. Флобер-пустынник, в глухом своем Круассэ рыкающий металлической прозой, ритм которой похож на гроыхание кареты по мостовой, Флобер, не ждущий кресла в Академии, ни пред кем не склоняющийся, суровый и добрый, вслух читающий собственные черновики, громовым голосом, слышным с улицы, Флобер всегда заслоняемый от толпы, сумрачный, грозный, подвижнически преданный своему искусству — образ «монаха от литературы». Он так же болезнен и меланхоличен, как Тургенев — впрочем, рано, и, кажется, навсегда вырвал из души любовь к женщине: заменил подвигом искусства. И как женствен, двойствен, переменчиво-капризен, ласково-прохладен рядом с ним Тургенев! Он незащищен. Ни лат, ни власяницы. Ни в жизни, ни в литературе нет у него закала. В юности он не мало страдал от женской своей колеблемости, легкомысленной лживости. К старости многое в себе преодолел. В семидесятых годах не могло с ним случаться того, что бывало в сороковых. Но мужественной прямоты Флобера, его крепости, смелости появиться не могло. Флобер никого не боялся: ни холеры, ни смерти (хотя не был верующим), ни публики, ни критики. Его жизнь цельна и стройна — хотя недооценка и торжество пошлости мучили его немало, и как всякий нуждался он в утешении (тот же Тургенев и утешал его). Флобер больше Тургенева создавал свою жизнь. Никакие ветры никуда не могли занести его. От любви в молодости тоже много претерпел, но история Виардо-Тургенева для него невозможна. Правда, и натура его менее богата эротическим, чем у Тургенева. Более властен он и в искусстве. Его проза прокованней, мужественней, совершенней. Перевод

Тургеневым «Юлиана Милостивого» (при огромных достоинствах богатства языка) не вполне дает флоберовский звук.

Но следует восстановить равновесие: и Флобер не мог состязаться с Тургеневым в вольной простоте речи, ее круглости, естественности, как раз незакованности — дающей более места дыханию жизни.

Флобер и Тургенев действительно дружили. Тургенев ездил к нему в Круассэ, встречался в Париже на обедах, посещал и на улице Мурильо, близ парка Монсо.

Квартира Флобера, небольшая, но изящно обставленная — в алжирском вкусе — выходила окнами в зеленый парк. Восточное оружие, диваны, книги... Тургенев любил глубоко засаживаться в мягкую мебель, иногда позволял себе даже лежать — таким запомнился в день первой встречи Альфонсу Додэ: при появлении в дверях черного, лохматого провансальца, с софы поднялась, не без медлительности, «огромная фигура с белоснежной головой».

Собрания у Флобера по воскресеньям, днем, бывали интимны. Додэ, Золя, Гонкуры, Мопассан, Тургенев. Их сближала литература. Она общий интерес, общее ремесло. В Тургеневе был им любопытен еще и новый мир, экзотика. Тургенев много рассказывал о России. От него они узнали о Пушкине, о Толстом, еще об очень многом. Роли российского посла не оставлял он и в их кружке. Можно сказать при этом так: Тургенев среди них более европеец. Чем они сами. Кроме французского, он знал немецкий, итальянский, английский. Испанский языки. У того же Флобера. В залитой светом комнате с разными копиями и тюрбанами, пред зелеными купами парка, где бегали детишки и сидели няньки, переводил он *à livre ouvert* приятелям и Гете, и Свинберта — не смотря на старость, на подагру, на скопляющуюся горечь воодушевлялся сам — и увлекал. Всегда животворила его литература. Нравилось быть со своими. Среди мастеров цеха. Литература вообще самый непорочный, самый возвышенный и безупречный угол Тургенева. Как у Флобера, преданность ей безгранична. Знаний больше. Тургенев мог чему-то научить Флобера: но не наоборот. Об остальных и говорить нечего. Горячий, природно-талантливый, но не далекий Додэ. Весьма элементарный (с большим, но нерадующим дарованием) Золя. Холодные эстеты и снобы Гонкуры... все это не так блестяще. Но все они погружены в писание: это Тургенева прельщало. Он горячо слушал самого Флобера, когда тот читал свои произведения. Ухо Тургенева улавливало слабый образ, повторение слова на большом расстоянии. Флобера восхищала его критика. Но он и сам ценил флоберов вкус, гордился похвалами его, очень сердился, однако, что тот плохо понимал Пушкина.

Кроме Собраний у Флобера учредили они известные «обеда пятерых», или «освистанных авторов» (у каждого был в прошлом театральный неуспех — впрочем, насчет Тургенева это сомнительно: он принял титул больше из вежливости).

Обеды устраивались в ресторанах — то у «Адольфа и Пеллэ» за Оперой, то у комической Оперы, то у Вуазена. Все пятеро старались быть гастрономами — несколько щеголяли этим. А в сущности, провансалец Додэ не шел далее своего буйабэса, Флобер —

руанской утки. Гонкур находил, что «шикарно» требовать имбирного варенья. Тургенев в еде действительно понимал. Не даром работали крепостные повара у русских бар, знатоков объедального дела. Недаром был он и родом из страны, чьи осетрина, стерлядь и икра прославлены. Он любил суп с потрохами, жареных цыплят, икру. Вина пил мало.

Если бы Вера Сергеевна Аксакова, со своею возвышенностью и духовностью побывала на одном таком обеде, она бы совсем невзлюбила «освистанных», как и раньше недолюбливала Тургенева.

Собирались к семи. Платили за обед франков по сорока (по тому времени очень дорого), засиживались в отдельном кабинете до двух. Золя снимал пиджак, Тургенев кисло бранил его, что он не носит подтяжек и горячо спорил с Флобером о том, можно ли есть жареного цыпленка с горчицей, или нет — до того горячо, что держали пари на дюжину шампанского и обращались к суду экспертов-знатоков (давших ответ неопределенный: не знаю, кто кому ставил вино). Это все мало походит на «ночные бдения» молодого Тургенева с Бакуниным, или на «утра» в Лесном с Белинским. Но надо быть справедливым: не об одних цыплятах говорилось. Разбирали и собственные произведения. Приносили новые свои книги. Флобер — «Искушение св. Антония», «Три повести»; Гонкур «Элизу»; Золя — «Аббата Мурэ»; Додэ — «Джека», «Набаба»; Тургенев — «Живые мощи», «Новь». «Мы толковали друг с другом по душе, открыто, без лести, без взаимных восхищений» (Додэ).

Это подымало обеды, облагораживало. Облагораживали ли разговоры о любви? — их тоже бывало много. Но тут Тургенев оставался в одиночестве, и как физически, так и духовно целой серебряною головой своей перерастал собеседников. Ибо для «натуралистов» любовь была или актом природы (как у зверей), или гастрономией. По общему мраку мировоззрения своего, признававшего лишь слепую Природу (создавшую бессмыслицу и хаос жизни), Тургенев к ним приближался. Но Любовь являлась ему мистическим просветом. Он знал о божественном ее происхождении, не любил унижения любви. Гастроном в кухне, не терпел гастрономии в любви, и за это недалекими своими сотрапезниками почитался «отсталым». Ему как ребенку объясняли особенности любовной техники — люди, вероятно, кроме этой техники ничего в любви и не смыслившие. Замечателен его спор с Золя. Тот утверждал, что любовь к женщине ничем не отличается в существе своем от дружбы, или любви к родине — лишь обострена жаждой обладания. Тургенев возражал: любовь чувство совсем особое, ни на что не похожее, и загадочного характера. Вспомнив юность свою, Нескучное, и княжну-соседку, твердо стоял на том, что «в глазах любимой женщины есть нечто сверхчувственное». На этом коньке был непобедим. Одолеть его нельзя было потому, что таков его опыт: он знал это не из книг, а из жизни. Отказаться от предельного взгляда на любовь значило бы для него отказаться от себя и своего писания. Он не только считал, что видит Божество в глазах любимой, но полагал, что любовь вообще расплавляет человека, как бы изливает его из обычных форм, заставляет забывать о себе — «выводит» из личности (соединяя с бесконечным). Не все могут любить. Есть лишенные этого дара. (Он не любил толстовского Левина — считал очень холодным, неумеющим любить, всегда лишь собою занятым).

Любви же сам настолько был «подвержен», что считал — и писать-то способен лишь когда влюблен. Может быть, преувеличивал. Но без любви жить, все-таки, не мог, как и без творчества. Это сливалось у него в одно.

* * *

Еще очень давно, молодым и счастливым, испытал Тургенев в Куртавенеле мистические, жуткие ощущения — будто сквозь обычный мир давал о себе знать и другой, таинственный и недобрый. Он чуялся ему и в звездном небе, и в ночных шорохах, и в снах — сны всегда много значили в его жизни. К ним не так просто он относился. Замечательно, что светлое визионерство дантовской, например, молодости, ему чуждо. «Любимая» не являлась обликом Беатриче, хотя в сверхчувственном понимании любви и был он с Данте родствен. Зависело ли это от того, что у Тургенева не было чувства всемогущего светлого Бога? Высшая сила для него слепа и безжалостна. Человек ничтожен. Прорывающееся оттуда нерадостно. В полном противоречии с этим был восторг любви — хорошо ему известный. Данте верил, что Беатриче из благодатного источника. Тургенев ощущал прелесть своей Беатриче скорее как магическую. Это одна из болезненных его неясностей, очень тяжелых.

Его странности в доме Герцена, одинокая тоска на rue de la Paix, сумрачное (но глубоко поэтическое) колдовство «Фауста» (рассказа), ужас «Призраков», грозные сны, все это одного корня. Правда, он написал Лизу в «Дворянском гнезде». Что-то иное брежжило и ему. Но помолиться с Лизой в церкви он не мог.

С годами чувство присутствия иного мира в нем росло. Но не давало радости. О «призраках» он не только писал: он их и видел. Спускаясь по лестнице обедать, видит старика Виардо, в охотничьей куртке, умывающегося у себя в уборной. Делает несколько шагов до столовой — там преспокойно сидит тот же Виардо, несколько не умывавшийся. В Лондоне люди раздваиваются: он говорит за столом с пастором, и кроме пастора видит его скелет, пустые впадины глаз, и т. д. Или приходит к нему, солнечным утром, женщина в капоте — говорит несколько слов по-французски — не один раз приходит. Будто уже знакомая. «Странно, что по-французски. У меня никогда не было близкой женщины иностранки, из умерших, то есть... Я несколько раз видел привидения в своей жизни».

Просто ли это галлюцинации, или непросто, другой вопрос. И раздвояли самого Тургенева, как в жизни, так и в писании.

Уже говорилось, как вслед за «Отцами и детьми» написал он «Призраки», несколько позже «Собаку». Семидесятые годы открываются как бы двойным созвучием: «Степной король Лир» — деревенский и полно-живописный Тургенев мценских полей, Орла, Спасского — и «Стук... стук... стук!» («Я как раз начисто переписал эту певучую, небесно-голубую вещицу — и к величайшему моему удивлению заметил, что она похожа на ядовитый гриб»). Что в ней небесно-голубого нашел он, не знаю. В этой «студии» соблазненная офицером девушка, покончив с собой, из «того» мира зовет к себе

соблазнитель — в таинственной туманной ночи, слабым стоном — похожим на то, что слышали еще мальчики «Бежина луга». Сомнений нет: «тот» мир все ближе подступает. Теперь лучшие свои вещи пишет он по «зову». «Живые мощи» набросаны гораздо раньше. Но пока был он моложе и больше погружен в «лапку утки» и «морду коровы, с которой падают блестящие капли», — Лукерья, сны ее, видения меньше его занимали. Рукопись лежала в столе, не доведенная до состояния художества. Зря, случайно? В благотворительные сборники и раньше зазывали его. Но вот лишь теперь (в 74 г.) появилась эта драгоценность литературы нашей. Лукерья такая же заступница за Россию и всех нас, как смиренная Агашенька, раба и мученица Варвары Петровны, как Лиза. Вместе с Лизой она свидетельствует и о каких-то возможностях Тургенева, не до конца раскрывшихся. О неполной власти магического.

1875-й год отмечен рассказом «Часы». Автор сам находил его «странным» — во всей несколько запутанной истории простые, будто бы, часы играют роль недобрую и знаменательную. Еще мрачнее следующая вещь «Сон», кошмар сплошной, написанный с той убедительностью, какую мог дать лишь человек, сам с призраками знавшийся. Затем «Рассказ о. Алексея» — тут просто уж изображается, как дьявол овладел душою человека. Удивительный по тону, полный кротости, он страшен безответностью, почти опасен (ощущением всемогущества, неотвратимости зла). Но что легкое, светлое мог дать художник, отмечавший в своем дневнике (1877): «Полночь. Сижу опять за своим столом. А на душе у меня темнее темной ночи... Могила словно торопится проглотить меня; как миг какой пролетает день, пустой, бесцельный, бесцветный. Смотришь: опять вались в постель. — Ни права жить. Ни охоты нет; делать больше нечего, нечего ожидать, нечего даже желать».

Дух мрака, горестного уныния знаком всякому — до святых, впадавших иногда в тоску. Но они одолевали ее слиянием (в молитве, устремлении духовном и любовном) — с Верховным благом. Тургеневу же некуда было преклонить главу, некому излиться. Не от кого ждать помощи.

В те самые, семидесятые годы, когда вкусно обедал он с французскими литераторами, покупал картины в Hôtel Drouot, водил знакомство с Лавровым и давал деньги на революционный журнал. Когда восторгался цюрихскими народницами-студентками, самоотверженно набравшими свое издание — тут-то и мог по-настоящему писать лишь «подпольное». Тургенев дневной, общественный, «отражавший современность», не удавался уже вовсе.

«Новь» — плод сложных, долгих размышлений, наблюдений. Роман, написанный, может быть, самую зрелую техникой Тургенева, с наибольшим движением и прочностью композиции (слабые стороны его раннего писания) — совершенно погиб. Вот вещь неблагословенная, незадачливая в корне, ничем не овлажненная, неплодотворенная — самое страшное для художника зрелого: будто все и на месте, и все ни к чему. Все подсушено, без живых соков (хотя имеет вид жизненности). Горькая «Новь» с изображением хождений в народ молодых. Иногда трогательных интеллигентов, несчастных и гамлетизирующих, никакой истинной новью не благоухающих. Зря пропали деньги Тургенева на Лавровский журнал. Ничего не дал ему и сам этот отшельник латинского квартала со своими цюрихскими студентками.

Нет, не т мог делать теперь старый, больной, томимый чувством близкого конца Тургенев.

* * *

В «Сне» некий офицер «с черными, злыми глазами», отчаявшись в любви к нему матери лица, ведущего рассказ, прибегает к насилию. В отсутствие мужа проникает в ее спальню, набрасывает на голову ей подушку, и т. д. Рожденный при такой обстановке сын видит впоследствии сон об отце — и однажды, наконец, его встречает (в приморском городе, где живет одиноко с матерью). Отец действительности вполне походит на отца сна (при нем некий таинственный «арап»). Снова пытается отец проникнуть к матери, на этот раз неудачно. Уезжает в Америку и гибнет в буре. Его тело прибило к берегу, и гуляя по взморью юноша вновь видит, но уже мертвого, отца — с тем обручальным кольцом на пальце, которое он сорвал с жертвы в первое свое посещение. Юноша бежит домой, приводит мать к этим песчаным дюнам. Но утопленника уже нет... так же загадочно он и сгинул.

Написан «отец» смутно, в облаке таинственности. Будто он приходил к матери тогда естественно (указана даже потайная дверь в стене). Но остается впечатление магнетизирующей силы, колдовства, таившегося в черноглазом человеке с арапом — содействия сил темных.

Овладеть ? отвергнутой любви силою... да еще весьма двусмысленной... В этом «Сне» есть отчаяние страсти. И — беззащитность от вторжения ее (мать не может сопротивляться вихрю, чужой страстной воле).

Воля в любви. Порабощение одного другим, предельно ли грубое, или более сложное, но не менее жуткое насылание «болезни любви», как наслала ее Мария Николаевна на Санина в «Вешних водах», — это Тургенева давно занимало. Любил он любовь и боялся ее. В «Сне» редкий у Тургенева случай, когда мужчина действует. (Обычно «берет» женщина — мужчину слабого, неволевого).

Не знаю, как Виардо отнеслась ко «Сну». При своем трезвом и «благоразумном» настроении вряд ли одобрила. И она, и ее муж бывали строги к Тургеневу. Во всяком случае, под их кровом, в третьем этаже дома на rue de Douai, в небольших комнатах, где висел портрет Виардо, стоял ее бюст, откуда слышны были колоратуры учениц, распевавших внизу с седою, но блестяще-черноглазую прельстительницей, сочинял Тургенев такие странные, никому неблизкие и не имевшие успеха вещи...

Сам он старел, Эрос же в нем не гас. Вряд ли он был теперь в Полину влюблен. Романом с ней никак не отзывает жизнь в доме *entre la cour et le jardin*. Но ее власть над ним огромна. Он как бы в тихом, заколдованном оцепенении. Его сердце может даже открываться другим. Но над всем бодрствуют черные, пожалуй, и действительно магнетические глаза Полины. Достаточно ей сказать «так» — и будет так. Уехав в Россию, по первому зову прилетит он в Париж, как бы в туманном лунатизме.

Баронесса Юлия Петровна Вревская — блестящая красавица, чудесный, горячий, страстный человек. Они встретились в конце 73-го года. Она ему очень понравилась. Уже весной 74-го пишет он ей из Парижа о своем чувстве к ней, «несколько странном, но искреннем и хорошем». Летом он побывал в России. Вревская приезжала к нему в Спасское, провела там пять дней в июле — робостью она не отличалась, но авантюристкой не была никак. Тургенев, разумеется, ей тоже нравился. В собственной жизни она не устроена и тоже томится. Ей хочется жить, но не так печально-созерцательно, как Графиня Ламберт, не так семейственно, как Ольга Александровна. Она более женщина нового времени. Не Елена ли «Накануне», попавшая в семидесятые годы? Много уже видела. Много испытала. Знает разочарования, но и силы свои. Не одна семья и не одна любовь ее влекут. Жить — значит действовать. Рядом с любимым человеком, но на равной ноге.

На роль Инсарова никак Тургенев не годился. По обыкновению, расставлял свои серебряные тенета, слегка опутывал и завлекал, но что мог предложить решительного? В Спасском читал ей вслух стихи, мастерски рассказывал (кто же из женщин скучал с Тургеневым?), загадочно целовал ручку, вздыхал — был мил и очарователен — вечно ходил вокруг, да около. «Мне все кажется, что если бы мы оба встретились молодыми, неискушенными, а главное свободными людьми... докончите фразу сами».

Кого можно зажечь «условными предложениями»? (Если бы, да если бы...). Но ведь это пишет Тургенев, и тайком от Виардо. Полина отлично могла себе позволить баденского доктора, и с Тургеневым на этот счет не советовалась. Если бы, однако, узнала о его «отклонениях», вряд ли бы ему поздоровилось.

Тургенев виделся со Вревской вне Парижа: в 75 г. в Карлсбаде, где вместе пили они воды. В 76-м — в России. А еще через год он так осмелел, что написал ей: «С тех пор, как я вас встретил, я полюбил вас дружески и в то же время имел неотступное желание обладать вами; оно было, однако, не настолько необузданно, чтобы попросить Вашей руки, к тому же другие причины препятствовали; а с другой стороны, я знал очень хорошо, что Вы не согласитесь на то, что французы называют *une passade*». Вревская раньше писала ему, что не питает «никаких задних мыслей». Он тут же прибавляет: «я, к сожалению, слишком был в том уверен» (обычное его положение: не возбуждать страсти в женщине). Вревскую, все-таки, его письмо смутило. Она ответила — и в письме была загадочная фраза, над которой он «поломал голову». Но дело опять кончилось придаточным предложением из числа условных. 8-го февраля он пишет: «Нет сомнения, что несколько времени тому назад, если бы Вы захотели...»

То есть «если-ы» она его взяла. Этого, разумеется, не случилось. Вревская никак не собиралась «женить» на себе Тургенева. Никаких «карьер» или «тихий пристаней» она не желала. Наоборот, неизжитые силы влекли ее вперед. Хотелось действия, притом доброго действия. Вревская поступила решительно, прямо. Шла русско-турецкая война. Вскоре после последней встречи с Тургеневым (в конце мая, в Павловске на даче Полонского), уехала она сестрой милосердия на войну — в ту же Болгарию, куда некогда устремлялась Елена. Там героически ухаживала за больными, ранеными. Там сложила голову «за други своя». С «золотой волюшкой» не рассталась, жизнь же отдала.

Тургенев как раз в это время начал еще новый род писаний своих, лирико-философических, назвал их «Стихотворения в прозе». О смерти ее он написал знаменитое «стихотворение» — последняя весть о Вревской, последнее ее прославление.

... «На грязи, на вонючей сырой соломе, под навесом ветхого сарая, на скорую руку превращенного в походный госпиталь, в разоренной болгарской деревушке — слишком две недели умирала она от тифа. Она была в беспомощности — ни один врач даже не взглянул на нее; больные солдаты, за которыми она ухаживала, пока еще могла держаться на ногах — поочередно подымались со своих зараженных логовищ, чтобы поднести к ее запекшимся губам несколько капель воды в черепке разбитого горшка».

Так проиграла (а вернее выиграла!) свою жизнь Вревская. Подходящая для нее судьба: скорый, трагический и героический конец. Расчеты Тургенева с жизнью шли медленнее. Ничего не было в них героического.

БУЖИВАЛЬ.

«Мы с Виардо приобрели здесь прекрасную виллу — в трех четвертях часа езды от Парижа — я отстраиваю себе павильон, который будет готов не раньше 20-го августа — но где я немедленно поселюсь... — Я езжу в Париж три раза в неделю».

Это писано летом 1875 года. «Здесь» — Буживаль, недалеко от С.-Жермен, на берегу Сены.

Видимо, купили они сообща. Вилла называлась Les Frénes («Ясени»). С набережной ворота вели в парк. (Они и ныне существуют. На них доска с обозначением, что тут жил «знаменитый русский романист Иван Сергеевич Тургенев»). Две дороги, усыпанные песком, подымались вверх к дому. Вокруг кусты, зелень, чудесные ясени, плакучие ивы. Как и в Бадене, много воды. Она скоплялась в бассейнах, бежала ручейками, среди бегоний, фуксий по лужайкам, мшистых огромных деревьев. Главный дом, где жили Виардо, наверху. У Тургенева небольшое chalet в швейцарском духе, недалеко от дома — все в цветах, зелени. В rez-de-chaussée столовая и гостиная. Выше большой кабинет, много книг, картин, мебель обита темно-красным сафьяном. Из углового окна вид на Сену — на ней те же баржи, что и теперь, лодки, кабачки под ивами и тополями. Зеленые луга, коровы. Голубизна далее — тогда все было просторней, более деревенское. Еще этажем выше — спальня и комната для гостей.

Сюда выезжали каждую весну из Парижа, с rue de Douai в каретах, медленно и основательно кативших по шоссе, с сундуками, баулами, картонками — на все лето. (Как бы парижское Нескучное или Царицыно). Лишь ноябрьские туманы загоняли в город.

Собиралась вся семья: семидесятилетний Луи Виардо, Полина, дочери — Клавдия Шамеро и Марианна Дювернуа, сын Поль. Приезжал — возвращаясь из Карлсбада с леченья, или из России (там бывал чуть не каждый год) — Тургенев. Случалось, что и ученицы Виардо жили тут в пансионе по соседству.

Жизнь шла тихая, старчески-закатная. Тургенев, как всегда, работал. К Буживалю имеют отношение «Сон», «Рассказ о. Алексея» и позднейшие «Клара Милич», «Стихотворения в прозе», предсмертные наброски. Осенью 76-го года здесь переписывалась «Новь» — и очень многие письма помечены Буживалем (Тургенев всегда тщательно означал даты и место — любил, чтобы и ему указывали их).

Видишь его здесь полубольным и грустным, с подагрой, нередко в плеле, медленно прогуливающимся по парку (в лучшие, относительно, годы, до последней болезни). Очень это непохоже на его молодость в Куртавенеле, но ни от чувств Куртавенеля, ни от самого поместья ничего более не осталось.

К молодости, красоте тяготение неизменно. Вот Диди расставляет у него в кабинете, рядом с окном на Сену кисти, краски на мольберте, тут для нее поставленном. Это видная молодая женщина с черными блестящими волосами, острыми чертами лица, глубокими синими глазами. Обликом напоминает мать. Она тоже умеет петь — Полина обучала ее. Но ее занимают больше кисти, краски. Диди с детства рисует. В годы Бадена дарила Тургеневу ко дню рождения «Св. Семейство» — здесь пишет пейзажи, натюрморты.

Тургеневу нравится, что она близ него. Может быть, он дает ей советы, критикует, хвалит. Снизу, с крокетной площадки, тоже молодые голоса, щелкают шары, смех: ученицы забавляются не столь веселой игрой. Накидывая на плечи пестрый плед — летом нередко холодно — спускается он вниз, и под ясенями садится на скамейку, смотрит, как играют. Ученицы разноплеменные: южная красавица Гаргани — венгерка; мечтательная Фермерн, чудесное контральто, немка. Ромм русская. Все как на подбор высокие, стройные. В Париже, увидав их раз в салоне Виардо, Тургенев окрестил всю тройку «анабаптистами» из «Пророка», так и осталось за ними название. Опять похоже на Лаврецкого и молодежь, только не в Орле на Дворянской, а на латинской земле, и Лаврецкому шестьдесят лет. Анабаптисты относятся к нему с благоговением — это великий писатель, такой приветливый и грустный человек, даже такой красивый, несмотря на возраст. Возможно, и он тряхнет стариной, сыграет партию, да вряд ли барышни решатся обыграть его. Хотя боязни к нему нет. Кому он страшен? Кого обижал из малых сил? (Не то, что Виардо: от нее, случалось, плакали статные ученицы — потом мирились, целовались — до ближайшей ссоры).

Долго ему под ясенями, однако, не усидеть. Из дому бежит прислуга.

— Г. Тургенева спрашивают...

Или:

— Приезжая дама очень хочет видеть по делу г. Тургенева.

Это соотечественники, Виардо не особенно ласково их встречает, все-таки они просачиваются. Может быть, молодой, рыжеватый с бородкой ключьями и в косоворотке народник, будущий Златовратский, приехал «ознакомиться со взглядом нашего знаменитого писателя на революционное движение», выяснить окончательно, «как он

относится к прогрессу?» — и заодно пожурить за «постепеновщину», за то, что и в «Нови» «недостаточно выведено положительных типов и т. д.

— В России назревают события, — осведомляет юнец. — В Петербурге сейчас два правительства: одно в Зимнем дворце, другое в конспиративной квартире исполнительного комитета...

Все это Тургенев знает, но ничего не подделаешь, надо слушать. Он полулежит — громадный, с серебряной головой, кутает ноги пледом.

— Вы уж меня извините, говорит высоким. Пришепетывающим тенором: за такую позу. Большой старик... Да, да, я преклоняюсь пред самоотвержением русской молодежи. Разумеется, я сделал в «Нови» промах...

Посетитель оглядывается по сторонам. Видимо, обстановка его смущает и собственная косоворотка, и борода козлиная.

— Вы здесь вдали от гущи жизни. Для уловления нарождающихся типов необходимо быть, так сказать, внутри, а не во вне...

Это больное место Тургенева. За «гущу», за, якобы, «измену» родине («променял на Францию»), кто только не корил его? (А когда умер Флобер и попробовал Тургенев собирать на памятник ему в России, эта милая Россия в ярости на него набросилась!).

Может случиться, что народник вытащит таки из-под полы, пыжась и краснея, трубочку рукописи, где «выведены» в поучение Тургеневу и «положительные» типы, будет рассказано, как честная учительница с не менее честным учителем ушли в народ и что из этого получилось.

Терпелив Тургенев. Прочтет, одобрит, перешлет Стасюлевичу — нельзя ли «тиснуть» в «Вестнике Европы»? Из своих средств даст аванс... (Одна из причин нелюбви Полины к землякам).

Или же не народник, а щебечущая дама дожидается. Под вуалькой, в джерси, с турпюром и юбкой в воланах.

— Иван Сергеевич, я такая ваша поклонница... позвольте представиться... — обожаю ваш талант, мне бы хотелось автограф.

Это — в лучшем случае. А то — похлопотать за сына. Его надо поместить в гимназию, на казенный счет, так вот не может ли он дать письмо... При его имени... с его известностью.

— А сколько лет вашему сыну?

Тургенев берет за перо.

— Пятый пошел.

— Ну, в таком случае не возьмут.

— Ах, знаете, я на всякий случай вперед. Нахожусь проездом в Париже, думаю: надо навестить Ивана Сергеевича, он такой добрый, а Олег подрастет, ему пригодится рекомендательное письмо. Да заодно и подпись знаменитого писателя.

Ероютно, не так уж благословлял в сердце своем «Иван Сергеевич» разных мамаш и Олегов, но письма писал, пока в дверь не стучала твердая рука Виардо: конец аудиенции — «г. Тургенева ожидают к завтраку» (или к обеду, или еще что).

Вечером вист — одно из приятных для него развлечений. А 18-го июля в доме праздник: день рождения Полины. (В Баден он всегда приезжал к этому времени из России. В Буживале не совсем так).

Разумеется, делает Тургенев подарок: за несколько дней катит в карете в Париж, в Salle Drouot. Там он завсегдагай.

Его кличка Grand Gogo russe. Это значит, что нетрудно его облапошить — и действительно, нет ничего легче. Он разыщет какую-нибудь камею, шаль, миниатюру. Переплатит, робко свезет домой. Подарок будет принят с царственным благоволением, как самоочевидный шаг. Черные глаза лишний раз блеснут. Лишний раз поцелует он красивую некогда руку.

И анабаптисты не отстанут. К торжественному дню заказывают они в Париже огромный букет красных роз, букет-монстр, чтобы умиловить госпожу. К ним присоединяются еще две ученицы — подношение от пятерых.

Полина все-таки дает утром урок. Стучат. Въезжает целый куст роз. Она сразу понимает в чем дело, но слегка играет: хмурится, делает недоуменное лицо... За дверьми шепчутся остальные четыре девицы.

— Что такое? Откуда это?

В букете пять визитных карточек.

Она медленно вынимает их, по одной, медленно, как бы плохо разбирая, читает.

— Ну, какие глупые, что это за пустяки!

Но анабаптисты уже ворвались, виснут на ней, целуют.

Разумеется, парадный обед, с шампанским, индейками, мороженым. Вечером гости. Ученицы будут петь. Может быть, и Полина вспомнит былое, остатками знаменитого голоса споет «О, только тот, кто знал свиданья жажду...», — сверкнет непогасшими глазами, вновь одно сердце взволнует.

А потом кончится этот день. Один останется Тургенев у себя в chalet — как и всегда. В угловом окне, над Парижем, бледное зарево. Летние звезды в небе. Лампа под зеленым абажуром на столе. Как некогда в Куртавенеле — шум крови в ушах, шорох — неумолкаемый лепет деревьев, капля падает с легким серебряным звуком. Тончайшее сопрано комара. И — ощущение ушедшей жизни.

В полночь было страшновато в уединенном Куртавенеле, могло пригрезиться что-нибудь, почуться. Но тогда — молодость. Хоть ненадолго — да увенчанная любовь. И тот, неведомый мир, чуть приоткрывавшийся, был далеко: едва давал о себе знать. Теперь он рядом. Совсем приблизился, как кошмар «Сна». Тайные силы, грозные и недобрые, может быть, и могли заколдовать и покорить ему ту, около которой (в неравной борьбе) прошла жизнь. Но вот не заколдовали. Не обратно ли? Не им ли овладели — приковали к «краюшку чужого гнезда?»

Возможно, встанет *monsieur Tourguéneff*, в тишине ночи обойдет сад и вернувшись, запишет у себя в дневнике: «Самое интересное в жизни — смерть».

СЛАВА.

С начала шестидесятых годов стало Тургеневу казаться, что он устарел, что его разлюбили и у него «все в прошлом». Отчасти это было верно.

Старая Россия, патриархальная и крепостническая, кончилась. Все благоухания полей, «Затишья», смиренность русской девушки, смиренность крепостного человека — необъятная тишина России — уходили. Тургенев много показал влаги, поэзии, красоты в этом. Но сама эпоха удалялась. «Дворянское гнездо» — последний бесспорный и глубокий его литературный успех — конец пятидесятых годов.

Водители шестидесятых сразу сказали: «Тургенев несозвучен времени» — он и действительно не очень был созвучен. Диссонансы, резкая сухость — не его область. Уже говорилось, как тяжело переносил он нападки на «Отцов и детей». Мелкие вещи проходили незаметно. «Дым» полу-успех, тоже отравленный. О «Нови» никто (почти) не сказал доброго слова. К тому же: Тургенев живет на западе, в Россию только наезжает. Шаблон готов. Старый, немодный писатель, оторвавшийся и от эпохи, и от родины. Что может дать он?

За эти годы Тургенев и писал меньше: возраст поздний, да и настроение сгущается. Темперамент толстовский или ибсеновский только разжигался бы. Тургенева надо было любить, баловать, без этого ему трудно работать. И он все прочнее приходит к мысли, что дело кончено. «Довольно» — Достоевский злобно посмеялся над ним («Merci!»), но и вообще «люди шестидесятых годов» все возможное сделали, чтобы отравить старость Тургенева.

Правда, в Европе его переводили, о нем писали. В Париже была у него известность личная (и то больше как собеседника) среди писателей, музыкантов при Виардо, художников, да в некоторых салонах. Книжки по-французски шли плохо. Сам он считал, что его влияние и положение во Франции малое. В Германии были верные литературные друзья (критики) — Юлиан Шмидт, Пич. Немцы писали о нем, пожалуй, больше и почтительнее всего. Некоторые удачи случились в семидесятых годах в Америке. Зато в Эдинбурге (где читает он «о никому неинтересном предмете: русской литературе») — самое имя его бессмысленно искажают. И во всем там ощущает он свою ненужность.

Подошел 78-й год. Тургеневу исполнилось шестьдесят. Ничего не написал он к юбилею! Если пятнадцать лет назад сказал «Довольно» — что же теперь? Он полагал, что умрет в 1881 г. (Перестановка цифр года рождения — 1818). Так что о славе и поздравлять думать. Но она не спрашивала его мнения, пришла сама, когда нашла нужным (смерть тоже не посчиталась ни с какими цифрами).

Первый сигнал славы европейской был несилён, но хорош. На международном литературном конгрессе 78 г. в Париже Тургенева выбрали вице-президентом, он сидел рядом с Гюго и председательствовали они по очереди, оба говорили на открытии. Гюго гремел, Тургенев скромно прочел речь о русской литературе — имел очень большой успех. Серебряная голова, фрак, белый галстук, пенсне, негромкий и высокий голос, отсутствие рисовки, общее ощущение, что это крупный писатель — все до слушателей «дошло». Русская литература никогда еще не занимала такого места — ее вознес Тургенев. Морально испытание прошло отлично. Техником же вице-председатель оказался плохим (давал слово не в очередь, иногда вставал, будто бы собираясь что-то сказать и не говорил, слабо управлял звонком, а затем и вовсе его выронил). Но это неважно. Гюго делал нелепости и почище (голосовал, например, за постановление, прямо противоположное собственной речи). Важно, что Тургенева наравне с Гюго возвели в сан патриарха — пред лицом Европы.

России еще не было. Все еще казалась она «сфинксом». Но как раз в этом неблагоприятном году и Россия дала весть неожиданную, радостную. В речи на съезде коснулся он русской литературы скромно, но твердо («Сто лет назад мы были вашими учениками; теперь вы нас принимаете, как своих товарищей»). А за два месяца до этого получил из России письмо, сильно его взволновавшее: писал из Ясной Поляны Лев Толстой, тот самый, что семнадцать лет тому назад собирался застрелить его из дуэлки. Тургенев никаких шагов к сближению не делал: он только прославлял врага на Западе, как первого художника России. В душе же самого Толстого что-то сдвинулось. Вспомнил он теперь о Тургеневе не как о «подлеце».

«В последнее время... я к удивлению своему и радости почувствовал, что я к вам никакой вражды не имею. Дай Бог, чтобы в вас было то же самое. По правде сказать, зная, как вы добры, я почти уверен, что ваше враждебное чувство ко мне прошло еще прежде моего. Если так, то, пожалуйста, подадимте друг другу руку, и, пожалуйста, совсем до конца простите мне все, в чем я был виноват перед вами». Дальше вспоминает, скольким в литературной известности своей обязан Тургеневу, все доброе, что тот для него делал, и предлагает, если Тургенев может простить, — возобновить дружбу. «В наши годы есть одно только благо — любовные отношения с людьми, и я буду очень рад, если между нами они установятся».

Тургенев заплакал, получив это письмо. Ответил так:

... «С величайшей охотой готов возобновить нашу прежнюю дружбу и крепко жму протянутую мне вами руку. Вы совершенно правы, не предполагая во мне враждебных чувств к вам; если они и были, то давным-давно исчезли...»

... Душевно радуюсь прекращению возникших между нами недоразумений. Я надеюсь нынешним летом попасть в Орловскую губернию, и тогда мы, конечно, увидимся. А до тех пор желаю вам всего хорошего — и еще раз дружески жму вам руку.»

В Спасское Тургенев этим летом попал, и в начале августа собрался к Толстому в Ясную Поляну, Толстой выехал встретить его в Тулу — видимо хотел обставить примирение совсем торжественно. Из Тулы вместе они приехали, очень ласково друг к другу настроенные. Тургенев гостил несколько дней, всех у Толстого очаровал смиренностью, простотой, живописностью рассказов. Видимо, был в ударе — мягкой и растроганной душевной полосе. «И вы, и я», писал потом Толстому, «мы оба стали лучше, чем шестнадцать лет назад». Очевидно, от «прежнего» Тургенева, с некоей позой и фразой, следа не осталось. Толстой этого не вынес бы. А теперь он с ним почтителен, почти нежен. Расстояние, разумеется, сохранялось. Оба держались именно так, чтобы острых углов не задевать. Тургеневу, впрочем, было и вообще не до острых углов. Другое тяготело над ним. В столовой сели за стол — тринадцать человек. Стали шутить насчет того, кому первому выпадет жребий смерти. Тургенев тоже смеялся. А потом поднял руку и сказал:

— *Qui craint la mort, lève la main!*

Никто не понял, кроме Льва Толстого:

— *Eh bien, moi aussi je ne veux pas mourir.*

Два первых русских писателя — только они — сказали. Что боятся смерти. (Софья Андреевна считает, что Лев Николаевич поднял руку «из вежливости» — хороша вежливость у автора «Смерти Ивана Ильича!») И оба выразились по французски.

Потом, конечно, как всегда в деревне, гуляли, любовались Козловой Засекой, милыми полями, перелесками родины. Тургеневу было не до споров, не до ссор. Последние трепетания любви, да слава оставались ему. Спешить некуда. Не о чем и волноваться. И правда, далеки нервность, бурная раздражительность времен фетовой Степановки.

Вечером играли в шахматы. Шахматных партий из вежливости не проигрывают. Тургенев играл лучше и наверно приходилось Толстому упражнять свое смирение, проигрывая ему.

Тургенев пробыл у Толстых три дня. И гость, и хозяева остались друг другом довольны, а на зрителя двух славных жизней хорошо действует, что достойно заканчивались долгие их, сложные и драматические отношения. Тургеневу, недалеко от кончины, следовало примириться с Толстым. Не могла одна подлинная Россия (европейская) враждовать вечно с другой подлинной (азиатской).

Примирение с Толстым хорошо отозвалось и на Фете. Бородатый Фет, некогда приятель Тургенева по стихам и охотам, с 74-го года стал почти недругом.

Разводило их неодинаковое отношение к России и политике. Тургеневское вольномыслие, холодность к правительству, знакомство с эмигрантами и некоторое

сочувствие революционерам раздражали Фета. Тургенева же раздражал непроходимый фетовский чернозем, возводивший чуть не к крепостному праву. Меньше он стал ценить и его стихи. Недовольство долго тлело, но прорвалось сразу. До Тургенева дошли вести, что Фет распространяет о нем нелепый рассказ: будто Тургенев старался в разговоре с двумя юношами «заразить их жаждою идти в Сибирь». Некое слово Тургенева явно было перетолковано. Искажено и раздуто — привело к разрыву. Но Фет продолжал быть и соседом, и приятелем Толстого. Августовская встреча, впечатление, произведенное у Толстых Тургеневым, все это повлияло. Вернувшись в Спасское, 25 августа 78 г. Тургенев пишет Толстому: «Фет-Шеншин написал мне очень милое, хоть и не совсем ясное письмо, с цитатами из Канта; я немедленно отвечал ему. Вот, стало быть, и недаром приезжал в Россию».

Но главное, триумфальные встречи его с родиной были еще впереди.

* * *

В начале 79-го года умер в России старший брат Тургенева Николай, тот, с кем вместе воевали они некогда против матери, который по смерти ее стал владельцем огромного состояния и так всю жизнь и прожил с Анной Яковлевной (скончалась она раньше него). В свое время немало претерпел за нее от матери. Но навсегда остался под властью этой женщины. Анна Яковлевна управляла мужем безраздельно, а он, по словам Ивана Сергеевича (нелюбившего невестку) «целовал ей ноги» — некоторым образом повторяя судьбу Ивана. Нельзя равнять анну Яковлевну с Виардо, но она тоже была некрасива, тяжелого характера и бурного темперамента.

В жизни Тургенева младшего старший почти не имел значения, если не считать приезда его в Баден в шестидесятых годах, когда Иван Сергеевич сообщил ему важные семейные тайны (о себе и Виардо, нам неизвестные). До духовного уровня младшего брата никогда Николай не подымался. Их отдаленность не удивляет. Николай был помещик, хозяин, скуповатый делец. Все это чуждо Ивану Сергеевичу.

С похоронами близких Тургеневу всегда не везло (так уж, видно, назначено было: держаться в сторонке) — не видал он в гробу ни матери, ни брата, ни Белинского, ни Герцена. В феврале же 79-го года приехал в Москву по делу о наследстве. Николай Сергеевич и в смерти остался верен памяти жены: подавляющую часть имущества оставил ее родственникам. Иван Сергеевич получил совсем мало.

Как бы то ни было, приезжал Тургенев в Россию за деньгами. Но о наследстве, неприятностях с каким-то Маляревским слышим мы лишь вскользь. О встрече писателя с Россией очень много.

Началось как будто с пустяка. Максим Ковалевский, известный ученый, барин, гастроном, человек «западнического склада», жизнь проживший широко и вольно — тогда редактор «Критического обозрения» — пригласил Тургенева к себе на завтрак. (Тургенев остановился все на том же чудесном Пречистенском бульваре, у того же

приятеля своего Маслова, в Удельной Конторе). У Ковалевского собралось человек двадцать сотрудников. Завтрак был обильный, парадный. Первый тост грузный хозяин провозгласил за гостя, «как за любящего и снисходительного наставника молодежи». Все это просто и естественно: Тургенев только что приехал — старый, знаменитый писатель. Более удивительно, что столько раз уже в жизни завтракавший, столько тостов произнесший и выслушавший, на этот раз Тургенев «не дослушал приветствия и разрыдался». Это вышло совсем не по западному — ни у Ваузена, ни у «Адольфа и Пеллэ» этого не полагалось. Что-то сразило Тургенева, раскрыло «славянскую» его натуру. Позже он называл «небывалым» тот день. В действительности, ничего небывалого, разве одно: случилось это в Москве, где мальчиком учился он в пансионе, юношей ездил в университет, был влюблен в Зинаиду. Одно важно, что это Родина, что не только его не забыли, а считают наставником и любят. Что пред надвигающейся смертью может он собрать и плоды жизни.

Эти плоды посыпались со всех сторон. Приезд его превратился в триумф — хотя умысла никакого не было. Все выходило само собой.

Читает, например, старый, тучный Алексей Феофилактович Писемский главу из романа в Обществе Любителей Российской Словесности. Чтение — в физической аудитории Университета. По давней дружественности приглашает Тургенева. Тот не сразу и соглашается (неважно себя чувствует). Но, в конце концов, едет. Входит через главную дверь, прямо против которой, совсем близко, стоял легкий белый экран для волшебного фонаря. Задевает его (по неуклюжести своей и огромному росту) — перед полным публики амфитеатром неожиданно является седая голова... — Начинаются овации. Некая «светлая личность», студент Виктор, из-за Тургенева попавший в историю литературы, с хор произносит речь. О Писемском забыли.

— «Вас приветствовал недавно кружок профессоров, позвольте приветствовать вас нам — нам, учащейся русской молодежи — приветствовать вас, автора «Записок Охотника», появление которых неразрывно связано с историей крестьянского освобождения...»

Одним словом, все как полагается. В дальнейшем было и некоторое «поучение», но утонуло в восторге молодежи. Тургенев скромно поблагодарил. И, быть может, скромностью еще более тронул эту нервную и горячую, иногда вызывающую улыбку, но восторженную молодую Россию. Восторг летит за ним. Студенты мчатся по коридорам, толпятся у выхода, чуть не качают его (как некогда в Петербурге Полину Виардо)... «И высыпали бы на улицу, если бы полиция не поспешила закрыть дверь, когда Тургенев вышел на подъезд».

В сущности, то же продолжается и дома, на Пречистенском бульваре. С утра поклонники: студенты, актеры, члены английского клуба, ученицы Консерватории, художники, желающие писать портрет. Десятками надо подписывать автографы — за ними, по большей части, приходят девушки. (Эти «тургеневские девушки» так однажды насели на него, что пришлось целый день выводить свою фамилию. К вечеру он совсем замучился).

В начале марта Тургенев переехал в Петербург. Тотчас петербургская литература устроила в его честь обед. Литературный Фонд — вечер. Должен был он читать и в пользу какой-то гимназии — педагогички чуть не вынесли его на руках. Вновь, как в Москве, толпа по утрам в номере. Приносят его сочинения (опять автографы), адреса, приветствия. У Тургенева было несколько своих книг. Девушки растащили их мгновенно — спорили, кому какой том взять, рвали друг у друга книги, «кричали, как галчата перед вечером». Одна захлебывалась от радости, что получила «Новь» — Тургенев посмеивался: может быть, та же поклонница полгода назад эту «Новь» проклинала. (Но в общем у него осталось впечатление, что женщины семидесятых годов мягче и душевнее «шестидесятниц»: пожалуй, это и не только беглое наблюдение. Романтизм народничества — иное дело, чем естествознание и лягушки Базарова).

В том же мартовском Петербурге 79-го года, среди сутолоки и шума славы завязал Тургенев еще одно замечательное знакомство.

В январе молоденькая актриса Савина поставила в свой бенефис на Александринской сцене «Месяц в деревне». Пьесу посократили (она от этого выиграла). Савина оказалась прекрасной Верочкой — спектакль шел с огромным успехом. Она обменялась с Тургеневым приветственными телеграммами. Заочное знакомство создалось. Теперь встретились и лично: Топоров, приятель Тургенева, свел их в Европейской гостинице (где Тургенев остановился). Савина туда приехала. Седая картина и остроликая, большеглазая, тонко-холодноватая, но и пламенная насмешница. Как ни была она бойка, все же тургеневская слава волновала, подавляла ее. Ее успехи больше еще по Пензам, Минском, он — всероссийская знаменитость. Она робела, хоть была не из робких. В последнюю минуту, от волнения, чуть было не отменила встречу.

Тургенев принял ее мило, просто, как «дедушка», как некий сказочный Knecht Ruprecht. Думал, что она играет Наталию Петровну, и удивился, что Верочку.

Она пригласила его на ближайший спектакль. И лишь выйдя, сообразила, что ведь билеты все проданы. Пришлось спешно просить у директора место в его ложе. Директор дал свою ложу, что Тургеневу и подошло. Начало спектакля он сидел в глубине, в тени, его не замечали. В антракте стали вызывать «автора!» Тогда инкогнито уж невозможно было соблюсти. Савина прилетела в ложу, вытащила его на сцену — театр гремел, и так продолжалось целый вечер. Тургенев раскланивался и из ложи — теперь в покое его не оставляли.

Савина торжествовала. Пьесу открыла она. Тургенева в публику она выводила: отблеск его славы падал и на нее. На другой день опять вместе с ним выступала на вечере Литературного Фонда. Теперь оба должны были читать из «Провинциалки», графа Любина и Дарью Степановну Ступендьеву.

«Когда мы вышли, я, конечно, не кланялась на аплодисменты, а сама аплодировала автору. Долго раскланивался Иван Сергеевич, наконец, все затихло и мы начали:

— Надолго вы приехали в наши края, ваше сиятельство?

«Не успела я произнести, как аплодисменты грянули вновь. Иван Сергеевич улыбнулся. Овации оказались нескончаемыми»...

Так, под приветствия въезжал, под приветствия и уезжал на этот раз Тургенев из России. Видевшие его весной в Париже говорили, что он помолодел, ободрился, как бы расцвел. Являлась даже мысль переселиться вновь в Россию (вряд ли, впрочем, было это серьезно).

Шум Москвы и Петербурга достиг запада. Оксфордский университет поднес Тургеневу диплом доктора гражданского права. «Ох, как плохо идет ученая шапка к моей великорусской роже!» — писал он Маслову, будто бы удивляясь, что ему эту шапку дали. В гражданском праве ничего не смыслил, не умел заключить простейшей сделки, а попал в доктора... (Англичане считали — за «Записки Охотника», за освобождение крестьян). «Оказывается, что я всего второй русский, заслуживший подобную честь».

Тургенев «удивлялся», что его выбрали, но был очень доволен. Честь любил, к славе был слаб.

* * *

1880-й год был довольно важным для русского просвещения: в Москве открывали памятник Пушкину. Подводился итог восторгам, охлаждением, вновь вознесениям дела и памяти поэта. Пред памятником споры умолкают. Художник как бы причисляется к лику святых и творения его переходят в школу, а имя «в века».

Тургенев более, чем кто-либо должен был принять участие в празднествах. И не удивляет, что весной 80-го года двинулся он в Россию, с тем расчетом, чтобы к июню попасть в Москву.

Побывал в Петербурге, у себя в Спасском, заехал опять в деревню к Толстому. Толстой находился в разгаре внутренней перестройки. «О Льве Толстом и Катков подтверждал, что слышно, он совсем помешался», — писал из Лоскутной пред самыми пушкинскими днями Достоевский жене. И вот, несмотря на то, что «помешался» — опять встретился с Тургеневым ласково. Писал «Краткое изложение Евангелия» и ходил с гостем на тягу — стреляли вальдшнепов, на весенней заре, при ранней Венере, набухающих почках берез, распустившихся подснежниках. При той невыразимой нежности вечернего неба, заката, запахе прели в лесу и свежести... чего нет нигде, кроме российской тяги. Почему занимались стрельбой мирных, любовью влекомых птиц непротивленец Толстой и отдавший любви жизнь Тургенев — этого понять нельзя. Написавший Касьяна с Красивой Мечи, знавший наизусть пение всех дроздов и малиновок, трубу бекаса, воркование горлинки, мягко и грустно любивший тварь земную — находил же Тургенев удовольствие, на пороге собственной смерти убивать изящнейших птиц (в незабываемой красе вечера).

Толстой поставил гостя на лучшее место, на опушке большой поляны, а сам ушел дальше. Но вальдшнепы тянут все на хозяина, он там палит, а Тургенев с маленьким Львом Толстым-сыном только слушают. Наконец, хорканье, над макушками «тянет». Тургенев целится. Выстрел. Вальдшнеп падает в густой осинник. А уже стемнело. Сколько ни ищут Тургенев с Лёвушкой и толстовской собакой, не могут найти. А старый Лев все палит. И потом подходит с двумя убитыми птицами в ягдташе.

Этот человек в рубашке родился, с завистью говорит Тургенев. — Счастье во всем и всегда. (Сказано это только о том, чья семейная жизнь напоминала *malebolgie* Данте, кто счел всю прежнюю свою литературу заблуждением и временами был близок к самоубийству).

Вальдшнепы, встречая смерть от руки Толстого, летели на призыв той самой любви, от которой и сейчас трепетало тургеневское сердце — в последний уж раз. И хотя графине Софье Андреевне и сказал он, что не пишет потому, что не влюблен, это было неверно. Прошлогоднее знакомство с Савинюю даром не прошло. Как раз в это время обменивался он с нею письмами ласково-нежными.

Главная же цель его приезда была не тяга, а желание вывезти Толстого в Москву на пушкинские торжества. Толстой, несмотря на всяческую любезность, дружелюбность к гостю, тут уперся по-толстовски. «Это все одна комедия», — может быть, прямо он так Тургеневу и не сказал, но фраза гуляла среди литераторов. Тургенев уехал ни с чем, сперва в Спасское, потом в Москву, на празднества.

Москва готовилась к ним усердно — Москва хлебосольная, интеллигентско-купецкая, западническая и славянофильская, с интригами, треволнениями и сплетнями, но сходявшаяся на Эрмитажах, Тестовых, балыках, растегаях, цыплятах. Тут разницы между Катковым и Ковалевским не было. Съезжались депутаты, писатели со всей России. (Из Петербурга дали им даже специальный поезд). Надо их получше разместить, накормить, напоить еще до открытия. Первоклассным знаменитостям дать обеды — для людей как Вукол Лавров, сын мукомола, а ныне издатель «Русской Мысли», гастроном и «широкая натура», дела оказалось достаточно. «Не по петербургски устраивают!» писал Достоевский жене из Лоскутной гостиницы. «Балыки осетровые в полтора аршина, полторааршинная разварная стерлядь, черепаший суп, земляника, перепела, удивительная спаржа, мороженое, изысканнейшие вина и шампанское рекой». (На своем гениально-разночинском языке добавляет он: «Утонченность обеда до того дошла, что после обеда, за кофеем и ликером явились две сотни великолепных и дорогих сигар»). Для Достоевского стерляди были внове, Тургенев знал все это наизусть. Достоевский высчитывал, хватит- и денег (празднества несколько оттянулись, из-за смерти императрицы), размышлял, как бы получше взять аванс под «Карамазовых», волновался и трепетал, принять ли оплату Думой трехрублевого номера гостиницы (а вдруг подумают, что обрадовался, «выскочил», и т. п.?). Тургенев спокойно поселился у своего Маслова. Денег у него было достаточно. Его тоже, конечно, закармливали, но принимал он это без восторга.

Съезд был большой. Кроме Льва Толстого вся литература. Тургенев, Достоевский, Гончаров, Писемский, Фет, Аксаков, Майков, Григорович, Полонский, Островский,

Катков, Юрьев, Ковалевский, море профессоров, представителей ученых, литературных, благотворительных обществ. Конечно, разделение. Западники — славянофилы. Первых возглавлял Тургенев, вторых — Достоевский. Приглашать ли Каткова и «Московские Ведомости»? Кому, что и где читать? Такими тревожениями все было полно. Мучительному Достоевскому, сидевшему в своей Лоскутной, все казалось, что его обойдут, «унизят», что Тургенев со штабом западников на Пречистенском Бульваре распорядится им для умаления славянофильства и для возвышения себя. Вообще, при могучей и болезненной его фантазии многое такое ему казалось, чего в действительности вовсе не было.

После всяческих проволочек памятник открыли, на тверском бульваре, 6-го июня. Монумент сделал Опекушин — не Бог весть что — все же задумчивый Пушкин со шляпой, в сюртуке, слегка наклонив голову с курчавыми волосами хорошо входит в пейзаж Москвы. Представляешь себе июньское утро, благовест Страстного монастыря, толпу, трибуны, переполненные публикой, группу важных стариков во фраках у подножия памятника, пеструю тень летних облаков по ним, великолепного полицмейстера, городских, таращащих глаза, оркестр, играющий гимн. Гусарский офицер, Александр Пушкин стоял тут же, будущий почетный опекун московских институток. Тогда был он не стар. Говорят, очень напоминал отца — этому охотно веришь: даже в старике Александре Александровиче Пушкине оставалось некое веянье отца. И когда завеса упала, отец этот стал частью Москвы, гением местности, как бы покровителем бульвара, восходящего к нему, и одновременно ликом России.

Тургенев тоже находился тут, очень взволнованный.

Знал он Пушкина живого. Видел его и в гробу. С юности поклонялся ему, носил на себе его локон. По словам очевидицы «стоял около памятника весь просветленный». Венок возложил в глубоком волнении.

Чисто «пушкинское» переживал Тургенев сильно. Но Тургенев Тверского бульвара — не тот, что через несколько часов, на обеде, дважды отказался чекнуться с Катковым, предлагавшим примирение. (Перед этим Катков очень дурно задел его в печати). И еще третий Тургенев вечером вышел, седой, огромный, на эстраду Дворянского Собрания, и высоким своим голосом, слегка пришепetyвая, стал читать «Последняя туча рассеянной бури...» — на третьем стихе запнулся, забыл. Из публики стали подсказывать. Он улыбнулся, улыбкой милою, конец стихотворения прочел вместе с публикой, как поют символ веры в церкви.

Выбрав стихи эти, подчеркивал свое с Россией примирение.

Довольно, скройся! Пора миновалась,

Земля освежилась и буря промчалась,

И ветер, лаская листочки древес,

Тебя с успокоенных гонит небес.

Да, разумеется, вся эта «буря» прошла, слава и примирение бесспорны... но и жизнь прошла. Пушкинский праздник — речи, обеды, чтения — для Тургенева был и высшим увенчанием, и прощанием с Россией. Он хорошо это понимал. (Оттого так и волновался). Волновалась и публика, может быть, тоже смутно чувствовала. Когда на другом вечере произнес он первые слова «Опять на родине» — («Вновь и посетил»...) — слушатели вскочили, началась овация, ему не давали говорить. Все тем же высоким, тонким голосом, нараспев дочитывал он

... А вдали

Стоит один угрюмый их товарищ,

Как старый холостяк, и вокруг него

По-прежнему все пусто.

Это довольно точно сказано. Он был один, по-прежнему, и как всегда. Достоевский подробно отписывал о торжествах, о своей жизни в Лоскутной, о себе самом Анне Григорьевне. Правда, делал приписки, что мучается, не изменила ли она ему? Но мало ли что можно выдумать: на то он Достоевский. И Анна Григорьевна ему не менее, конечно, часто писала. Он горячился, беспокоился о деньгах, о доме, оправдывался, что задерживается. Но было куда спешить и к кому спешить. Жизнь Анны Григорьевны тоже была в нем. Тургенев мог написать Савиной, любившей другого. В Париже ждал его обычный саркофаг — где место было (слава Богу) лишь для одного. И тургеневских писем о пушкинских днях, по-видимому, нет вовсе.

7-го июня, в утреннем заседании Общества Любителей Российской Словесности он произнес речь о Пушкине. Она была заранее написана. Станным образом, в ней он несколько ждался. В пику-ли славянофилам, но был сдержан. Пушкина, конечно, восхвалял. «Национально-всемирным»-же поэтом, типа Гете и Шекспира, назвать не решился. Что и вызвало глубокое раздражение Достоевского. На следующее утро, 8-го, Достоевский в том же Обществе ответил знаменитой речью о Пушкине, произведшей действие необычайное: все остальное она затмила.

«Аполлон» и «Дионис» встретились. Аполлон получил последнее. Окончательное благословение России, непререкаемое место на Олимпе. На том же вечере, где читал «Гучу», он в конце, во главе участников, возложил на бюст Пушкина лавровый венок — Писемский же поднял венок и подержал над головою самого Тургенева, вызвав бесконечную овацию: лавровый венок литературы для него бесспорен.

Замкнутый и сумрачный, восторженный, кипуче-взрывчатый Дионис, ненавистник Аполлона, величайший честолюбец и подпольный страдалец изготовил в Лоскутной

бомбу. Он хорошо начинил ее. Утром 8-го июня, в начале речи она глухо шипела, готовилась разорваться. Но к концу бахнула. Хотя говорил он о Пушкине, о литературе — и даже сочувственно помянул Лизу врага своего — все же взорвал и потряс стены Любителей не литературой. Пушкина вознес в Россию, Россию в мир, Россию как мессию представил, заклокотал. Взлетел — и в конце речи были в публике истерики. Пафос и исступление религии внес в свою речь этот изумительный человек, способный одновременно чувствовать Зосиму и Свидригайлова, Алешу и Смердякова, говорить о всеотзывности Пушкина и считать, сколько раз вызывали Тургенева, чьи поклонники горячее: его или тургеневские?

Торжества Пушкина имели всероссийский характер. Пушкин показал России Россию. Тургенев с Достоевским добрались до московских людей. Энтузиазм был огромный. После речи Достоевского давние враги мирились. Давались обеты «быть лучше», и т. п.

Старая, милая Москва! Она расколыхалась, разбурлилась. Все эти длинные сюртуки, бороды, турнюры, джерси...

Много позже рассказывала мне пожилая дама, чистой и нежно-сентиментальной души, с эмалевой голубизны глазами, как выходил Тургенев, как у него перехватывало голос, как они плакали, — как неистовствовал Достоевский, — и у самой появлялись слезы (при воспоминании о днях высоких и почти блаженных). Да, праздник так уж праздник.

— Мы и по вечерам не могли успокоиться. Ходили все на Тверской бульвар, садились у памятника, за полночь, читали стихи. Всегда кто-нибудь там был... студенты, барышни.

САВИНА.

Приезд Тургенева в Россию «для Пушкина» оказался и приездом «для Савиной». В феврале-марте 1880 г. он встречался с нею в Петербурге довольно часто. То она к нему приезжает, то он просит билет на «Дикарку»: видимо, Савина начинает его занимать.

Разница лет между ними огромная: ей двадцать пять, ему шестьдесят два. Но это и придает некую пронзительность его к ней отношению. Если в Париже Виардо, если там будет он тих, послушен и привычен, *ami catalogué*, которого можно послать в аптеку или за драпировками, то здесь другое: молодость. Полине, в некотором смысле, принадлежит он совсем. Но обольщения юности она дать не может.

Сначала как бы затевает он с Савиной тонкую и нежную игру, на которую такой мастер. Как во всякой игре, тут есть свои наступления и отступления, маневры и контрманевры. Вдруг набежит прохлада — он отметит это в письме. («Стало быть, ждать мне вас завтра — в субботу — у себя в половине третьего? — Я буду дома. — Авось величественность несколько смягчится»). То прилив большой нежности. Ко дню ее рождения (30 марта) обращается он к ней в «превосходной» степени: «Милейшая Мария Гавриловна...» и посылает юбилейный подарок — маленький золотой браслет с

выгравированной надписью: «М. Г. Савиной от И. С. Тургенева». А затем опять какие-то, как выражается он, «дипломатические тонкости и экивоки» — но вот 17-го апреля отъезд в Москву, и на другой же день по приезде пишет он ей, все из той же Конторы Уделов, что она (Савина), самое дорогое и хорошее петербургское воспоминание. А еще через неделю — «вы стали в моей жизни чем-то таким, с которым я уже никогда не расстанусь»

Так что подготовка к пушкинскому празднику, Лев Толстой, тяга, разговоры с Софьей Андреевной в Ясной Поляне это одно, а под всем этим совсем другое.

В мае Савина собиралась на юг, играть в Одессе. Тургенев жил в Спасском и писал речь о Пушкине. Но помимо празднеств, речей, литературы мечтал, как бы Савину повидать (или даже с себе залучить) — на проезде ее через Мценск и Орел.

Заехать в Спасское на этот раз она не смогла. Но они списались и 16-го мая условились встретиться.

Часов около десяти вечера, на небольшом мценском вокзале, где можно съесть горячий пирожок, где барышни разгуливали по перрону, ждал в мягкой мгле мая, с цветами в руках московского поезда Иван Сергеевич Тургенев. В купе первого класса летела навстречу ему молодая звезда — предстояло ей покорять одесситов, но вот по дороге можно покорить и Тургенева. Синий вагон, солидный обер-кондуктор, красный бархатный диван с сессесером, книжкою брошенной, запахом духов... Худенькая Савина, огромный Тургенев целует ей ручку, подносит цветы. Поезд скорый — недолго стоит. Тургенев остается в вагоне. Полтора часа провели они в поезде, пронесившемся по полям черноземным, при раскрытом окне, откуда тянуло по временам сыростью с болот и туманных речек, запахом колосющейся ржи. Может быть, мальчишки стерегли где-нибудь у костра спутанных лошадей, близ насыпи. Да и сам «Бежин луг» не так далек. Деревушки уже темны. Только искры летят. Да звезды мигают.

В Орле надо было прощаться. В последнюю минуту, на платформе, у окна вагона, откуда Савина на него глядела, испытал Тургенев сильное, едва-удержимое и неожиданно-молодое чувство: что если обнять ее, в последнюю минуту, когда пробил третий звонок, выхватить из купе, увезти в Спасское...

Вышло, разумеется, по тургеновски: «могло-бы быть, да не случилось». Звонок пробил, поезд тронулся, а он все стоял, махал ей вслед платком.

Переночевав в Орле, уехал в Спасское. Неизвестно, о чем говорили они в вагоне — но глубокий след остался у него от этого путешествия. Вот он опять один в огромном Спасском. Сад цветет, май открывается полною своей душой. Тепло, благодать. Вечером соловьи. Странные, бурно-бесплодные чувства потрясают его. Он пишет ей вдогонку: «Мне даже трудно объяснить самому себе, какое чувство вы мне внушили. Влюблен ли я в вас — не знаю; прежде это у меня бывало иначе. Это непреодолимое стремление к слиянию, к полному отданию самого себя, где даже все земное пропадает, вздор говорю, но я был бы несказанно счастлив, если бы... если бы... А теперь, когда я знаю, что этому

не бывать, я не то что несчастлив, я даже особенной меланхолии не чувствую, но мне глубоко жаль, что этот прелестный миг потерян навсегда...

«Я надеюсь, что мы будем давать весть друг другу, но дверь, раскрывшаяся было на половину, эта дверь, за которой мерещилось что-то таинственно-чудесное, захлопнулась навсегда».

... «Такого письма вы уже больше не получите».

В то время, как он писал это, Савина подъезжала к Одессе. Может быть, забавлялась она, играла с ним в те полтора часа между Мценском и Орлом, но ее собственная душа полна была другим: неким Никитою Всеволожским, будущим ее мужем. Так что весь трепет Тургенева совершенно бесплоден, мог встретить лишь так называемую, так неутоляющую «дружбу». Всеволожский был молодой гусарский офицер, редкостной красоты, владелец огромного имения Сива, Пермской губернии (куда она к нему ездила). Тургеневу Савина писала одни письма, Всеволожскому другие. И уже наученный долгою жизнью (даже, возможно, и не зная тогда о Всеволожском), понимал отлично Тургенев безнадежность своего положения. Другого такого письма, как тогда из Спасского, он ей действительно больше не писал. Но отношения не прервались, тянулись до самой его смерти.

Во время пушкинских торжеств Савина за сценой, но уже в августе, в Париже они встречаются. Эта встреча на мценскую не похожа: хотя бы тем, что таинственный Всеволожский, наконец, появляется. И все имеет суховатый, почти «деловой» характер...

«Милая Марья Гавриловна, я недоволен нашим свиданием. — Мы и сошлись, и разошлись как вежливые незнакомцы. Я буду в четверг в Париже и зайду утром около 12 часов к вам». (Тургенев находился в Буживале). Видимо, и прощание было прохладным. «По тому, как вы пожали мне руку на прощание в последнее наше свидание в Париже я очень хорошо понял, что это — если не размолвка, то разлука... — «И разлука началась, но размолвки, и правда, должно быть, не было. Просто шли жизни — одна старческая, в Париже и Буживале, другая полная молодости, силы, зреющего и сгорающего таланта — в Петербурге. Тургенев понимал свое положение. Жизнь подсказала ему способ действий единственно возможный, единственно и достойный: длительную, дружественно мечтательную переписку «без надежд и выводов». В этом был он силен всегда. За зиму 80-81 г. г. у него наладилась такая переписка с Савиной. Интересоваться ее успехами на сцене, ее здоровьем, нервами, получать письма, где иногда вставляет она ласковые выражения — вот его скромное питание. Мысленно расцеловать «умные руки», или «облобызать все пальчики вашей правой руки» — небогато, все же несколько украшает скудное бытие. Глубоких, важных о себе высказываний, как некогда графине Ламберт, здесь нет. Скорее похоже на письма к Виардо периода отдаленности, но в ослабленном виде.

К весне придумывает он очень разумную вещь: зовет ее летом навестить его в Спасском, куда, как обычно, собирается.

* * *

Савина у него на этот раз побывала, провела в Спасском несколько славных июльских дней. У Тургенева гостил Полонский с женой — старые, верные друзья, типа Анненкова, Маслова и Топорова. Присутствие Полонских облегчало положение Савиной, приехавшей как-бы в целую семью.

Гостье отвели комнату недалеко от Тургеневского кабинета — из него отворялась маленькая дверь в коридорчик, ведущий туда. Окна выходили на север. Рядом «казино». Савина отдыхала, провела четыре очень приятных дня. На пруду для нее устроили нечто вроде купальни, каждое утро плавала она в Спасских водах — была отличным пловцом и (не по-деревенски) купалась в костюме. Обедали на террасе. 16-го июля вдруг налетела такая гроза с градом, что во время обеда посыпались стекла. Пришлось наспех все перетаскивать в столовую, самим спасаться. Но потом опять солнце засияло, — стояла благодать, жара. Дневные часы проводил Тургенев у себя в кабинете, а к вечеру, когда становилось прохладней, выходил на балкон и звал Савину.

— Ну, пожалуйста исповедываться!

«Исповеди» в том состояли, что Савина рассказывала о своей жизни, об актерских делах, наверно и о сердечных. Это Тургеневу нравилось: очевидно, изображала она хорошо. Настолько нравилось, что однажды он даже ей подарил особую книжку, синюю с золотообрезанными страницами: велел туда записывать, чтобы не пропадало. А самые исповеди так иногда затягивались, что уж тоненький месяц появлялся над лохматой крышей сенного сарая, сыростью с пруда тянуло, стреноженные лошади пофыркивали вблизи, на лужайке. А в столовой шипит самовар. (Июльский вечер в России, светлый, благоухающий!).

И однажды хозяин разволновался, встал, повел в сумерках молодую свою гостью в кабинет и прочел маленькое стихотворение в прозе. Оно не было напечатано, и не могло быть: по крайней своей интимности, по слишком явному стону. В нем рассказывалась «долгая любовь, непонятая любовь в течение всей жизни». Было там и о том, что когда «он» умрет, «она» не придет на его могилу (что и сбылось вполне).

В прошлом году прощался Тургенев с Россией общественной, литературной. Теперь со Спасским, Орлом, Мценском. Было время. Когда мальчиком он ловил птиц в этом парке, слушал торжественную мелопею милого Пунина. Ночью прокрадывался на свидание. Теперь последние вдыхал благоухания.

Другой день и вечер Савинского пребывания тоже замечательны.

17-го июля Полонские справляли годовщину свадьбы. Тургенев развеселился, устроил парадный обед с шампанским, сказал в честь их спич. На этом обеде (или, может быть, на другом, в том же роде), Савина разошлась, расшалилась и вскочивши, бросилась к нему, обняла, так нежно поцеловала, что поцелуя этого он не позабыл уже никогда.

Вечером созвали баб и девок, угощали их, те пели, плясали, водили хоровод. Полонский играл на рояле. Савина ходуном ходила, даже сам Тургенев приплясывал.

Будем считать, что в тот же именно день, поздно вечером, прочел он гостям «Песнь торжествующей любви». Он написал ее в деревне, за месяц до приезда Савиной.

Пять лет тому назад был написан «Сон». Там есть загадочный черноглазый человек с арапом — смесью силы и колдовства взял он нелюбившую его женщину. Теперь двое друзей любят некую Валерию. Фабий на ней женится. Муций, музыкант, уезжает на Восток — возвращается через четыре года с немим малайцем, изучив тайны магии и чародейства. И вот, колдовством (теперь одним лишь колдовством), овладевает он нелюбящую его Валерией. В первую ночь является ей во сне — во сне она и отдается ему. Во вторую тайными своими силами уводит ее из спальни мужа в павильон парка. Оба раза, отпуская ее, играет на скрипке Песнь торжествующей любви.

Повесть замечательна ощущением тягостного восточного колдовства. Нечто завораживающее есть в ней, гипнотическое. Но — торжествующей ли любви песнь? Слушая ее в тот вечер Спасского, понимала ли Савина, понимал ли Полонский и Жозефина Антоновна, что это скорее песнь неразделенной любви? Незачем прибегать ни к насилию, ни к чарам, когда тебя любят. Но если за долгую жизнь скопятся в глубине чувство томления — не оно ли толкает фантазию?

Вряд ли Савина, с ее умом, лишь недавно прослушавшая и то стихотворение в прозе, не понимала, в чем дело. Разумеется, промолчала об этом — как и Полонские не могли же говорить. Говорили о другом: о поэзии, красоте произведения — о чем авторам можно говорить. «Песнь торжествующей любви», правда, всем им понравилась очень. (Удивительнее то, что она и вообще «дошла» до публики: имела огромный успех).

И еще позже, почти на рассвете, водил гостью Тургенев в парк слушать «голоса». Может быть, это было как бы продолжением чтения. Во всяком же случае, в ночном парке Тургенев как дома. Слушали они таинственные звуки — было жутко, но и хорошо. Он называл ей всех птиц, просыпавшихся перед рассветом. Их-то песни знал наизусть.

На другой день Савина уехала. Вскоре сообщила, из имения Сивы. Пермской губернии, о своей помолвке с Никитою Всеволожским.

СУДЬБА.

Еще летом, в Спасском, произошли с Тургеневым некие неприятные маленькие события. Например, расстроило его известие о холере в Брянске. (Холера — его бич с давних лет). Как всегда, стало казаться, что у него самого что-то начинается. Он мрачнел, заводил разговоры о смерти. Даже анекдоты его переходили больше на холеру.

Невесело принял и птичку, вечером с упорством бившуюся в оконное стекло его комнаты. Пошел, в фуфайке, на половину Полонских. Яков Петрович собирался ложиться, Жозефина Антоновна писала письмо. Тургенев так разволновался, что пришлось

Жозефине Антоновне идти с ним. Назад она вернулась, неся птичку, черноглазую, меньше воробья. Тургенев пытался обратить все это в пустяки (сказал: «так называемое таинственное никогда не относится в жизни человеческой к чему-нибудь важному») — но все же птичка прилетела слишком уж «по-тургеневски». (Вот и к Владимиру Соловьеву перед смертью прилетала!)

Не особенно тоже хорошо, что Полину укусила в лицо ядовитая муха, да такая, что и нос распух, и сама она чуть не слегла. Из Спасского в Буживаль (и обратно) полетели телеграммы. Тургенев едва не уехал. И обернись это более серьезно, улетел бы, несмотря ни на какую Савину. Но все оказалось не так страшно, и он остался. Полонский уехал раньше, Жозефина Антоновна пробыла несколько дольше, и к концу августа тронулся сам Тургенев. Не знаю, как уезжал из Спасского. Что думал, что чувствовал, когда коляска везла его среди полей с крестцами овса на вокзал во Мценск: видел он эти крестцы в последний раз.

В октябре, как вычислял по цифрам года рождения, не умер. Чувствовал себя не плохо — и опять несколько по-другому, еще из Спасского писал Савиной в Сиву: «чувствую уже французскую шкурку, нарастающую под отстающей русской». При Виардо он несколько перестраивался, и душевно и даже внешне. Любил, например, нюхать табак, но «его дамы» не позволяли делать этого. Так что нюхал только в Спасском — в Буживале заменял табак какой-то солью.

Но и западная, французская шкурка была ему уже привычна. «Друг», «дедушка», некая тень семьи, некая и подавленность, робость. В Буживале — спокойная осень, довольно одинокая. (Виардо раньше перебрались в Париж). Позже, на rue de Douai, обычные рулады учениц снизу, обычные собрания со знаменитыми иностранцами (но без русских), все те же petits jeux. (Поразительно, как люди вроде Тургенева, Ренана, Луи Виардо могли разыгрывать «загадки»: ox-y-gène — каждый в слова свои должен был вставлять слог, а слушатели пусть разгадывают). В промежутках кто-нибудь сыграет на рояле. Остатками голоса Полина пропоет «О, только тот, кто знал свиданья жажду»... А потом опять: то надо выбрать драпировки, то улаживать дела пришедшей дамы с мужем, то другой даме помогать в борьбе с должником, то доктора приглашать к Диди. Или — претерпевать за забытые на извозчике ноты.

За всем этим, подспудно, не очень-то на глазах Полины, переписка с Савиной — мечтания, фантазии (утешения слабого). Савина в Петербурге, играет в Александринском театре. Молодость, успех, поклонники (как сорок лет назад у Полины). Но переписывается с ней не «помещик, пишущий плохие стихи», а Иван Сергеевич Тургенев — всякому понятно, что это значит: «Милая Мария Гавриловна, как мне приятно получать от вас письма! Один вид вашего почерка меня радует... Очень мне жаль, что я вас не вижу — да и не увижу скоро — не раньше марта. Вот вы мечтаете, как бы хорошо было убежать потихоньку за границу; а я, с своей стороны мечтаю — как было бы хорошо — проездить с вами вдвоем хотя с месяц, — да так, чтобы никто не знал, кто мы и где мы...»

«И ваша мечта — и моя так и останутся мечтами — без сомненья...»

Для этих мечтаний он выбирает место классическое: Италию, ни более, ни менее. И из Италии Венецию, или Рим. Пусть представит себе она такую картину: «ходят по

улицам, или катаются в гондоле — два чужестранца в дорожных платьях — один высокий, неуклюжий, беловолосый и длинноногий — но очень довольный, другая стройненькая барыня с удивительными (черными) глазами и такими же волосами... положим, что и она довольна. Ходят они по галлереям, церквам, и т. д., обедают вместе — вечером вдвоем в театре — а там... Там мое воображение почтительно останавливается... Оттого ли, что это надо таить... или оттого, что таить нечего?»

Таить-то, вероятно, было что. Но удивительно другое. Савина была невеста Всеволожского. Тургенев знал об этом. И все-таки воображение не останавливалось...

Тургеневские мечты не сбылись — настолько странны они, что и читать о них почти тягостно. Савина же за границу попала. Еще в ноябре 81 г. она почувствовала переутомление. Театр надрывал ее — слишком много приходилось выступать. И ей удалось вырваться, сначала в Киев, там несколько отдохнуть. Но этого оказалось мало. И в марте 82-го года она уезжает за границу — в Меран, затем в Верону. Ее сердечные дела довольно путаны. Она невеста Всеволожского, но нравится ей и Скобелев (известный генерал), продолжает она нежную игру с Тургеневым. Не особенное удовольствие доставляли ему эти Всеволожский и Скобелев, но к таким положениям он приучен. Все же временами пускает «шпильки».

«Ваше описание Мерана очень подробно и мило... но я не мог не улыбнуться — правда, про себя... Распространяясь насчет красот Мерана, вы нашли возможным даже словечком не упомянуть о том изумительном воине, который такое сильное произвел на вас впечатление — и ничего также не сказали о ваших матримониальных планах».

Дальше опять тон меняется. «Намерение ваше ехать в Италию — особенно во Флоренцию — одобряю вполне. — Я прожил во Флоренции, много, много лет тому назад (в 1858 г.) десять прелестнейших дней; — она оставила во мне поэтическое, самое пленительное воспоминание... а между тем, я был там один... Что бы это было, если бы у меня была спутница, симпатическая, хорошая, красивая (это уж непременно)... «Если вы попадете во Флоренцию, — поклонитесь ей от меня. — Я проносил мимо ее чудес влюбленное... но беспредметно влюбленное сердце».

В конце марта Савина приехала в Париж. Тургенев встретил ее с парадною нежностью — принес чудесные букеты азалий.

— Цветите, сказал, как они.

Савина собиралась лечиться. У него в это время тоже были волнения и беспокойства: заканчивалась печальная, неудачная семейная жизнь дочери, Полины Брюэр. Муж разорил ее, стал пьянствовать, носился за ней с револьвером. Ей пришлось бежать, а отцу — прятать ее. Затем тяжело заболел Виардо («мой старый приятель Виардо чуть не умер две недели назад — да и теперь не встает с постели»). Но все это ничего. Найдется время и для Савиной, и для забот о ней, ее лечении. Устраивает он ее у знаменитого Шарко, хлопочет, чтобы устранить врача, не нравящегося ей. Словом, Тургенев на высоте. А Савина. Острым своим, умным и уже ревнивым взором окинула и

Виардо, и особняк на rue de Douai, и верхние комнаты Тургенева — осталась недовольна. Ревность ее не от влюбленности, а от поклонения «звезде», «картине»: так-е, как у других русских, видевших его в последние годы при Виардо. Что-то в нем вызывало, разумеется, глубокое сочувствие и эту ревность: вероятно, некий тон с ним Полины. Но это и преувеличивали. Все-таки, у Полины он жил барином. Занимал в верхнем этаже четыре комнаты, обедал внизу, для приемов совместных великолепный салон. В Буживале целый дом. Внешней оброченности тоже не было. Что знаменитая пуговица оборвалась, когда к нему зашел Кони — не за всякую пуговицу ответственна и Виардо, надо быть справедливым. У Тургенева была прислуга, он не стеснен в средствах — за что угодно, только не за материальную, житейскую скудость можно пожалеть старческие годы Тургенева. (С другой стороны: нелепы воспоминания дочери Полины, Луизы Эритт. Там получается, что Тургенева денежно поддерживали Виардо. Это, конечно, вздор. Было обратное — Тургенев дал приданое Диди, когда та выходила замуж).

Савина пожила в Париже сколько надо, полечилась и уехала в Петербург, увозя дружественную нежность к Тургеневу и неприязнь к Виардо. А Тургенев вступил в последний, самый страшный и мучительный год своей жизни.

Мог он, юношей, погибнуть в пожаре на море, и не погиб. Всегда боялся холеры и от одного воображения захварывал. Боялся октября 81 года — и напрасно. А когда в апреле 82-го появились у него «невральгические» боли, не обратил на них внимания. Боли и боли. Неприятно, но пустяк. Шарко определил *angine de poitrine* «и не велел выходить из комнаты дней десять». И ни Тургенев, ни Шарко не подозревали всего ужаса положения. Ни невральгия, ни грудная жаба. Начинался рак спинного мозга.

* * *

«Опасности болезнь не представляет, но заставляет лежать, или сидеть смирно; так как не только при восхождении на лестницу, но даже при простом хождении или даже стоянии на ногах — делаются очень сильные боли в плече, спинных лопатках и всей груди — а там является и затруднительность дыхания», — так писал он Жозефине Антоновне, и в том-же письме звал ее с мужем в Спасское: пусть собираются не дожидаясь его, он подъедет, как только сможет. Полонских, однако, взволновала его болезнь. Да и сам он, чем дальше шло время, серьезней о ней задумывался. Как больной «просвещенный», хотел знать все в точности, и Шарко пичкал его жалкими знаниями медицины тогдашней (не умевшей определять рака позвоночника).

Якову Петровичу, в конце апреля, он мог уже подробно расписать, какие бывают *anginae pectoralis: essentialis* — от той умирают, а вот у него другая — *cardialgia nervalis* — от этой не умирают. Но она затяжная, хроническая. Неизвестно, когда выздоровеешь. И от этой *nervalis* ему жгли плечо, как будто дело было в бедной коже тургеневской. А не в тайном страдании позвонка. Ходить он совсем не может. А когда прибавляется еще «междуреберная невральгия с правой стороны», то и лежать нельзя: ночью надо сидеть.

В таком виде — недвижимого в карете — перевезли его в Буживаль. Думали: весна, природа, воздух оживят. Но в майском Буживале, при всех бабочках, цветах, при всем дыхании голубизны и света лишь острее он почувствовал, что дело плохо. Боли росли, становились невыносимыми. «Человек я похеренный», пишет он Жозефине Антоновне: «хотя проскрипеть могу еще долго». Надежд на Спасское и встречу с ними мало. Тургенев рад, что Полонские согласились ехать в Спасское и без него (после долгих уговоров; Жозефина Антоновна собиралась даже в Париж, ухаживать за ним).

А о себе вот что: «Когда будете в Спасском, поклонитесь от меня дому, саду, моему молодому дубу — родине поклонитесь, которую я уже, вероятно, никогда не увижу». Полонские прислали ему в письме цветы и листья Спасского сада. (Он просил «сиреневый цветок»). А в Буживале врачи приделали ему к плечу машинку, надавливавшую на ключицу — с ней как будто легче: мог сделать несколько шагов. Но как! «Всякая черепаха меня обгонит». Еще одно нововведение: по совету другого знаменитого врача, Жакку, стали его лечить молоком! За все хватается измученный человек: молоко так молоко. По двенадцати стаканов выпивал он в день бессмысленного пошла. А в промежутках вспрыскивали морфий, обкладывали горячими салфетками.

И все-таки Тургенев живет — даже достойно живет. Надежд нет. Но нет и озлобления (при этом человек он неверующий). Скорее смирение. Муки и безнадежность смиряли. Он даже кое-что пишет. (Из «Стихотворений в прозе», начатых довольно давно, еще в 78 году). Охотно переписывается — тон писем ровный, тихий, может быть, становится и несколько «надземней» (хотя сообщает он о мелочах бытия, о болезни, и т. п.). Савина обвенчалась, наконец, со своим Всеволожским. За ласковые письма Тургеневу в беде зачтется ей немало грехов. Она давала ему улыбку, да и нежность. (Думаю, писала правду). Вот, например: «Вспоминайте иногда, как мне было тяжело проститься с вами в Париже, что я тогда перечувствовала!» (Может быть, и плакал Тургенев, читая это...). Случалось и так: мелькнет «добрая» фраза, и сама она позабудет о ней. Он, за тысячи верст напоминает. («Не считая меня, обожающей без границ чудного Ивана Сергеевича»... — Он, в ответ: «Вы понимаете, что за такие слова надо по меньшей мере стать на колени. Одна беда: коли вы забыли эту фразу, стало быть, писали ее не совсем серьезно»). Вот это действительно беда. Но не впервые так случается с Тургеневым. Бывало, он и Полине говорил, еще в Париже, до болезни: «А помните, мы гостили тогда у Жорж Санд, еще Шопен играл, такая же туча стояла над садом, и дождь только что отшумел...» — «Где? у Жорж Санд? Ну, как это давно было. Не помню». Помнил-то всегда он. А женщины, кого любил — те забывали.

Чем объяснить, что молоко, все-таки, помогло ему? Июль, август шли легче. Даже надежды появились. Мог он немного вставать, ходить. Врачи упорно твердили, что опасности нет. А надо терпеть: болезнь нервная, ей подвержены на склоне лет многие артисты, писатели, художники. Тянуться она может долго. Надо пить молоко да ждать. Он ждал с терпением. И написал в этот промежуток последнюю свою истинно-замечательную вещь «Клару Милич».

В ней всегдашнее тургеневское — неразделенная любовь и потрясающее чувство загробного. Не райского, а грозного. Клара опять не Беатриче. Она магическая женщина, но сама ненасытившаяся любовью. Находит ее в Аратове — ему единственно и может

ответить, но как раз он и глух. Не почувствовал, не полюбил ее при жизни Аратов! Он еще так молод, сам не знает любви. Оба они девственники. Она отравляется. И из-за гроба «берет» его — дух ее, являясь по ночам, мучит Аратова и дает неиспытанное ранее блаженство. Сводит с ума и из жизни уводит.

Клара изображена сумрачной, черноволосою «цыганкой». Брови у ней почти срослись на переносице. Над губой черные усики. Голос — контральто. Она неласкова, горда, властна (может быть, и у Полины над губой был пушок). Магнетический ее взор чувствует Аратов еще на музыкальном утре, где впервые ее видит. Она не очень нравится ему — именно тем, что и трагическое есть в ней, и от «леди Макбет». (Она поет, между прочим, «О, только тот, кто знал свиданья жажду...»). Но вот именно ее и сразил скромный Аратов — и сам погиб.

Повесть окончил Тургенев в сентябре. Назвал «повестушкой», будто бы «кропал» ее (обычная его манера говорить о своих писаниях) — но не понимал, что дело тут серьезное. Удивительно, как сильно он боролся! Литературу никак не хотелось отдавать. Для жизни, женщины, для любви он уже «устрица, приросшая к скале». Но не для литературы. Кончив «Клару», отбирает Стасюлевичу для «Вестника Европы» те «Стихотворения», где меньше личного. Переписывается с Топоровым насчет собрания сочинений — Глазунов издает их. Из России высылает ему Топоров том за томом корректуры. И несмотря на боль в лопатке перечитывает, правит, чистит свои строки (свою жизнь). «Записки Охотника», «Рудин», «Отцы и дети», повести, пьесы, рассказы — сорок лет бытия, лучшее, что было в нем. Отказаться от этого нельзя и на смертном ложе.

Осенью жил он в Буживале один. (Виардо рано переехали в Париж... погода была скверная). Кажется, впрочем, не так огорчился одиночеством. Работал, писал довольно много писем. Утешал Полонских, очень о нем в Петербурге скорбевших. Подробно излагал Бертенсону (врачу, русскому), свое положение — где боли, куда перемещаются, как желудок, и пр. Радовался, что по ночам спит. И с легкой, горестной усмешкой отказался от нового лечения, ему предложенного: прикладывать к больным местам сырую глину. (В молоко все-таки верил, продолжал поглощать его неимоверно — по 10-12-ти стаканов в день). И окончательно смирился: т. е. уверился в безнадежности.

Программой maximum стало: не очень страдать. А там — устрица так устрица.

Но и этого не было дано. В ноябре переехал он в Париж. К январю боли усилились — без морфия не мог спать. В январе (83 г.) ему сделали операцию — вырезали «из брюха»... «прескверную сливу» — врачи называли ее «невром». Почтительно повторяет он непонятное слово, думая, что, наконец, операция и поможет. Он ошибся. Надо, или не надо было его резать — дело врачей. Операция прошла успешно. Рана скоро зажила и осложнений не вызвала. Но с того января, с этой операции «старая» его болезнь стала расти с силою угрожающей. Передышка окончилась. Вновь началось наступление, с силами утроенными. Теперь не только плечо и лопатка — вся спина, грудь болела, все вообще болело, двигаться совершенно нельзя. И ни молоко, ни уколы, ни машинка не помогали. Действовал один морфий. Шарко и тут придумал утешение: воспаление нервных оболочек, потому так и больно.

Последние Тома проходят через его руки — VI-ой, IX-ый... Еще в феврале, в письме Григоровичу, он умно, тонко разбирает «Гуттаперчевого мальчика». Такие-то вот фразы надо вовсе выкинуть, следовало бы изменить тяжелые обороты, много в рассказе излишней обстоятельности, и т. п.

Но уже это последние письма, писанные собственной рукой. Позже он диктовал.

* * *

Весна, Буживаль. Каштаны распускаются; дрозды скачут в саду. Умирает старик Виардо. Тургенева в кресле выкатывают из chalet — в весеннем солнце издали может он поклониться праху странного своего «друга», при котором прожил сорок лет, с кем мирно беседовал, охотился, от кого выслушивал иногда бессмысленные замечания насчет писаний своих. Полина хоронила мужа без сентиментальностей. На следующий день давала уже урок. Что думал Тургенев, глядя на го гроб, удалявшийся вниз, по спуску к воротам на набережную?

В мае он смог еще написать Полонским: «Давно я не писал вам, любезные друзья мои — да и о чем было писать? Болезнь не только не ослабевает, она усиливается — страдания постоянные, невыносимые — несмотря на великолепнейшую погоду — надежды никакой — жажда смерти все растет — и мне остается просить вас, чтобы и вы со своей стороны пожелали бы осуществления желания вашего несчастного друга».

Так умирал Тургенев. Всю жизнь стремился он к счастью, ловил любовь и не догнал. Счастья не нашел, смерть встречал в муках: точно бы подтверждался страшный взгляд его на жизнь. Но в действительности никак не подтверждался, ибо последней его судьбы, последней глубины бытия его мы не знаем. Мы только знаем, что это буживальское лето было ужасно и для Тургенева, и для Виардо, ухаживавшей за ним. Боли доводили его до криков, до мольбы прикончить. Так продолжалось до августа. Морфий действовал на его мозг — то казалось ему, что его отравили, то в Полине мерещилась «леди Макбет».

А в смертный час, когда никого уж почти не узнавал, той же Полине сказал, («которая пододвинулась к нему ближе, он встрепенулся»):

— Вот царица из цариц!

Умер он 22-го августа. Отошедши, весь преобразился. И не только не осталось на лице следов страданий, но кроме красоты, по новому в нем выступившей, удивляло выражение того, чего при жизни не хватало: воли, силы — мягкой, даже ласковой, но силы.

Сохранилась фотография с него в гробу: действительно, прекрасен. Может быть, и никогда красив так не был.

1929-1931.